

Когда желания - ПЛУТ



Брина Байра

18+

Брина Байра

Когда желания - плут

«Автор»

2026

Байра Б.

Когда желания - плут / Б. Байра — «Автор», 2026

В начале было Желание. Оно расколело мир на семь осколков. Говорят, кто соберёт их вновь — выпьет из Чаши Вечности. Говорят также: Чаша пуста. И наполнить её можно лишь тем, что дороже золота. Наследница, чьё сердце не бьётся, но в груди которой впервые пробуждается эхо. Телепат, тонущий в чужих мыслях и ищущий хотя бы час молчания. Наёмник, чья плоть не принимает смерти, но душа давно просит конца. Принц, видящий свои похороны. Разбойница, чьи кинжалы всегда промахиваются, стоит ей пожелать добра. И странник, чьё сострадание оборачивается пеплом. Ведьма в башне не раздаёт даров. Она забирает плату. А когда маски спадут, правда окажется тяжелее любого меча. Что страшнее: узнать, кем ты стал? Или понять, что ради выживания придётся отказаться от того, чем ты был?

© Байра Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть I – Сбор осколков. Девушка без тени	6
Воин без могилы	18
Святой с пустыми карманами	28
Человек без голоса	37
Пророк без будущего	45
Та, чьи желания лгут	55
Заячья удача и львиный страх	65
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Брина Байра

Когда желания - плут

Пролог

*В начале было Желание.
Не слово, не дело, не плоть и не кровь.
Лишь тоска бесконечная по тому, чего нет,
По тому, что не может случиться.
И Желание росло, пока не расколело мир.
Как чаша, переполненная до краев,
Оно разбилось на семь осколков,
И каждый осколок упал на землю,
Чтобы найти себе хозяина.
Говорят, кто соберет осколки вновь,
Тот сможет пить из Чаши Вечности.
Но говорят также, что Чаша суха.
И наполнить её можно лишь тем,
Что дороже золота.*

Часть I – Сбор осколков. Девушка без тени

*Четвертый осколок упал в грудь девушки,
Которая хотела любить, но получила пустоту.
«У меня нет сердца», — сказала она,
И стала холоднее зимы,
Ибо лед не чувствует боли.
Её дар — выжить там, где другие сгорают.*

Пыль в тайном алькове пахла всегда одинаково: сухим деревом, остывшим камнем и воском, что веками капал по ту сторону стены. София устроилась на узкой скамье, поджав колени к груди, и привычным движением поправила край гобелена. Тяжёлая шерсть, расшитая потускневшими сценами королевской охоты, плотно закрывала щель. Так проходило её истинное обучение. Гораздо более важное, чем уроки этикета или истории гербов. Здесь, в полумраке, можно было увидеть не лица, а намерения.

Внизу, в зале совета, уже гудели голоса. Сквозь толщу камня и ворсистую ткань они доносились приглушённо, будто удары барабана. В щели мелькал дубовый стол, освещённый десятком свечей в подсвечниках-лилиях. На стенах висели карты герцогства, где красными флажками были отмечены заставы, синими — торговые пути. Отец вошёл первым. Шаги тяжёлые, будто на плечах не бархат, а жернов. Валериус Вальдберг занял место во главе. Кивнул. Тишину нарушил шелест одежд и глухой стук отодвигаемых стульев.

Слева от отца леди Эвелин Вэнс, казначей. Пальцы нервно перебирали янтарные чётки, перед ней лежала кипа пергаментов, испещрённых цифрами, от которых зависели тысячи жизней. Напротив - граф Морит де Вара, канцлер. Спина прямая, руки лежат на столе слишком спокойно. Справа - советник Кассиан Вейл. Старый, с лицом, испещрённым морщинами, но глаза острые, как лезвие. Лгуны перед ними запинаясь на полуслове. Последним вошёл генерал Варус. Доспехи звякали на ходу. Он сел, рука тут же легла на эфес. Привычка, въевшаяся в плоть.

— Начнём, — голос герцога отозвался под сводами, требуя тишины. — Управимся до вечерни, пока вести не устарели. Леди Эвелин, казна.

Эвелин разгладила свиток, не поднимая глаз.

— Ваша Светлость, сборы составили девяносто процентов плана. Недопустимо. Новые пошлины короля Аларика, «плата за безопасность». По сути - штраф за нашу ответственность самостоятельность.

София напрягла слух. Каждый воз зерна, каждый рулон сукна — теперь под гнётом налога, который душил торговцев.

— Сколько потеряем в золоте за месяц? — спросил отец. В голосе его прорезалась усталость.

— По грубым подсчётам — десять тысяч крон. Точнее сказать не могу: величина налога менялась уже трижды, сумма растёт с каждым разом. По самому скромному прогнозу, мы отдадим треть казны на армию. Если репрессии продолжатся, придётся сократить гарнизоны или урезать жалование. Дисциплина рухнет.

Морит подался вперёд. Свеча дрогнула в его зрачках.— Мы можем снизить внутренние налоги, чтобы компенсировать потери и не злить купцов. Они уже грозят уйти в Остпорт. Облегчим их бремя — оборот вырастет. Казна своё возьмёт, пусть с задержкой.

София за гобеленом мысленно поморщилась. *Что для канцлера «облегчение», то для казны — брешь.*

— Оборот вырастет за счёт наших запасов, Милорд Морит, — указала Эвелин, не отрываясь от пергамента. — Король давит, потому что знает: у нас есть золото. Покажем слабость — потребует больше.

Варус фыркнул. Шрам на лбу набух красным. — Солдатам не платят обещаниями. Леди Эвелин права. Я только что вернулся с границы. Была стычка с артанийцами на Витасе. Мол, мы выловили больше положенного. Наши рыбаки законов не нарушали.

— Есть потери? — Валериус сжал подлокотники. Морщины на лбу углубились, словно прорезаны ножом.

— Трое раненых, один пропал. Забрали, верно. — Челюсть Варуса сжалась так, что заходили желваки. — Их командир заявил, что проучил нас. Нас проверяют на прочность, Ваша Светлость. Каждый день — чуть жёстче.

Кассиан поднял руку. Перстень с ониксом поймал свет. — Это не проверка, генерал. Это подготовка к поглощению. Аларик ждёт, чтобы мы сами попросились под крыло. Принесли ключи от ворот Розенгарда, надеясь на милость.

Морит усмехнулся. Сухой треск. — Вы всегда видите заговоры в тени, советник. Это мешает вам видеть возможности. Король не враг. Он правитель и отец принца Мартина, который прибудет через месяц обсуждать помолвку с леди Софией.

Расслышав своё имя, София не дрогнула. Она знала о визите принца. Знала, что эта тема неизбежно всплывёт.

— Брак не вернёт Вальдбергу независимость, если условия диктуют они, — Кассиан бросил взгляд в сторону Морита. — Если леди София станет принцессой Артании и переедет в Гранитхолд, как требует обычай, Вальдберг станет приданным. Мы потеряем право голоса. Нами будут управлять из столицы.

— Нами уже управляют через налоги и блокады, — Морит забарабанил пальцами по столу. — Если не заключим союз, нам перекроют порты. Гордиться независимостью, пока герцогство задыхается?

Леди Эвелин кивнула. — Если Артания получит доступ к нашим отчётам, они захотят львиную долю. Всем известно: казна на севере еле дышит от военных амбиций. Вальдберг — сердце торговли. Они хотят контролировать сердце, чтобы управлять телом.

Кассиан выпрямился. Усталость словно испарилась. — Это наше преимущество. И мы не должны его отдавать. Рудников в Терросе хватит на поколения вперёд. Если закроют пути, прекратим внешнюю торговлю. Остальные будут голодать, но мы выживем.

— Армию пайком и шёлком не удержишь, — покачал головой Морит. — Без внешней торговли мы не сохраним боевую силу. Укрепления обветшают. Станем лёгкой добычей. Изоляция — медленная смерть.

Варус стукнул ладонью по столу. Кубки звякнули. — Лучше паёк, чем брать ненасытную корону на содержание, которая нас ненавидит. Я видел их казармы. Солдаты голодают, а король требует парадов. Говорят, строй сытнее каши. Мои люди не замёрзнут ради чужих амбиций.

Спор гудел. В зале повисло напряжение, густое, как воздух перед грозой. Морит и Кассиан грызлись, как старые волки, знающие слабые места друг друга. Отец слушал молча. Лицо оставалось каменной маской. Пальцы барабанили по подлокотнику — жест, который София знала наизусть. Он размышлял. Искать путь между молотом Артании и наковальной гордости.

— Довольно, — голос герцога отсёк спор. — Месяца препираемся. Истина не стала ближе от криков. Брак — союз домов. Но я не пожертвую будущим дочери и свободой герцогства ради временной передышки.

Морит склонил голову. Мышцы на шее напряглись. — Разумеется, Ваша Светлость. Я лишь предлагаю рассмотреть варианты.

— Я знаю, что вы предлагаете. Безопасность не должна стоять свободы. Если София уедет, Вальдберг останется без наследника. Это недопустимо. Ведём переговоры на наших

условиях. Кассиан, свяжитесь с лордом Джулианом, подготовьте обходные пути. Генерал Варус, усильте дозоры, но без провокаций.

— Будет сделано, — отозвался Кассиан. В глазах мелькнуло облегчение. — Мои люди уже ищут тропы в обход застав.

— Милорд Морит, продолжайте говорить с послами. Но запомните: никакого переезда Софии в Гранитхолд. Если принц хочет союза — пусть едет сам. Вассалами мы не станем.

Морит кивнул. Губы сжались в нитку. Взгляд потемнел.— Как прикажете.

Заседание тянулось ещё час. Обсуждали урожай, дороги, железо из Гримхолда. София впитывала всё. Интонации, взгляды, паузы. Мозаика из слов. Она видела, как Эвелин доверяет Кассиану в цифрах, как Варус презирает Морита за уступчивость, как канцлер пытается играть на отцовском страхе за дочь.

Когда зал опустел, София отодвинула гобелен. Отец поднял голову. Не удивился.

— Ты слышала достаточно, чтобы понимать угрозу? — голос прозвучал хрипло.

— Морит хочет, чтобы я уехала. Говорит о безопасности, а предлагает стать заложницей.

— Он боится потерять влияние, — отец встал, подошёл к окну. — Если мы сохраним независимость, его посредничество станет ненужным. Он искренне верит, что сопротивление бесполезно.

— Кассиан прав. Мы выживем без северного золота. У нас есть земля, люди, руды

— Выживем. Но какой ценой? — Валериус обернулся. В глазах плескалась боль. — Война стоит дорого, София. Не золотом. Жизнями тех, кто пойдёт защищать эти стены.

Она взглянула на карту. Розенгард в центре. Пути расходятся во все стороны. На севере — Гранитхолд. На востоке — Остпорт. На западе — Стоунбридж.

— Я не боюсь цены, если она справедлива. Боюсь заплатить её впустую. Если союз — пусть равных. Я останусь здесь. Принц приедет сам. Мы не капитулируем в бархате. И я не стану куклой.

Валериус улыбнулся. Усталое лицо на миг посветлело.— Ты готова. Больше, чем думаешь. Но помни: доверяй Кассиану в чести, Эвелин в золоте, Варусу в стали. Но никому — свою жизнь целиком. Даже мне. Я могу ошибиться.

София кивнула.— Я запомнила. И не дам использовать меня как ключ к нашим воротам.

Отец кивнул на портрет у камина. Валериус I, Основатель. Лицо в тени. Корона на полотне лежала рядом с мечом, а не на голове.— Помнишь уроки? Он мог надеть корону. Но выбрал титул герцога ради клятвы другу.

— Помню. Но знаю и другое. Король Аларик требует, чтобы я уехала на север. Чтобы Вальдберг стал провинцией.

— Он боится.

— Чего? Мы не нападаем. Не требуем чужого.

— Именно этого, — Валериус коснулся рамы. — Он знает, что право у нас есть. Народ помнит. Скажи вслух, что хочешь корону — Юг восстанет. Не против тебя. За тебя.

— Но ты не хочешь этого.

— Я хочу мира. Война прадеда показала: мы сильнее. Но цена — жизни. Я не хочу платить её снова.

— А если мира не будет? Если Артания будет душить, пока мы не задохнёмся?

Валериус помолчал. Взглянул на дочь. В глазах — боль и гордость.— Тогда вспомним Валериуса I. И примем решение, которое он не принял.

— Стать королевством?

— Стать тем, кем должен быть Вальдберг, чтобы брать своё по праву. Если Север не хочет щита — пусть боится меча.

Утро в замке начиналось не с солнца, а с холода. Камень стен впитывал ночную стужу и не отдавал её, даже когда очаги разгорались в полную силу. Дым от сырых дров ел глаза.

София любила этот холод. Он был честным. Не притворялся теплом, не обещал уюта, который исчезнет, стоит погаснуть уголькам. Холод просто был. Как и она.

На тренировочном дворе пахло мокрой соломой и конским потом. София стояла, сжимая в руках обмотанный тряпками деревянный меч. Напротив топтался сир Родерик: лицо в рубцах, левое ухо откушено в пограничной стычке, доспехи звенели при каждом шаге, как кошель с медяками. Репутация, сложенная легендами. Он был старше на сорок лет, тяжелее на три камня и искренне верил, что защищает леди, обучая её самообороне.

— Высокий страж, леди София, — проворчал он, поднимая клинок. — Не давайте пространства. Вы слишком далеко.

София сделала шаг вперёд. Движения плавные, выверенные, лишённые суеты. Мышцы не ныли. Дыхание ровное. Когда сир Родерик пошёл в выпад, целясь в плечо, траектория клинка проступила в сознании так ясно, будто он двигался в густом мёде. Она сместила корпус, парировала. Удар пришёлся в дерево с глухим стуком. Дрожь прошла по предплечью до локтя. Ни боли. Ни страха. Только физика. Дерево о дерево.

— Хорошо, — кивнул рыцарь, вытирая пот тыльной стороной ладони. — Но где ярость, девочка? Где желание победить? Вы дерётесь как как кухарка месит тесто.

— Я делаю то, что нужно, чтобы не проиграть, — ответила София. Голос ровный, без эха. — Победа — цель. Ярость мешает видеть удары.

Сир Родерик вздохнул, опустил меч. В глазах читалось то, что она видела слишком часто: смесь восхищения и брезгливости. Люди боялись того, чего не понимали. А они не понимали, как можно стоять под зимним небом, без плаща, с деревянным мечом в руке — и не дрожать ни от стужи, ни от предвкушения боя.

Грохот тяжёлых сапог по камню разорвал тишину двора. Генерал Варус вышел из арки, словно валун, отколовшийся от горы. Доспехи его, потёртые до тусклого блеска, лязгали при каждом шаге. Шрам, рассекающий левую бровь и уходящий к виску, дробил лицо на две неравные части, делаю его похожим на расколотый гранит. В руке он сжимал не учебный макет, а боевую булаву — тяжёлую, с шипастым навершием, от которой веяло холодным железом и привычкой к крови.

— Родерик, — пророкотал Варус. Голос низкий, хриплый, будто камни перетирались в жерновах. — Докладывай.

Рыцарь вытянулся, ударив кулаком в нагрудник.

— Леди София отрабатывает защитные стойки и парирования, генерал. Рука крепчает.

Варус перевёл свой единственный живой глаз на Софию. Взгляд тяжёлый, цепкий, лишённый дворцовой учтивости. Скользнул по деревянному мечу в её руках, затем остановился на поясе. Там, в потёртых ножнах из воронёной кожи, торчала рукоять её личного клинка.

София вынула его. Без спешки. Без тени сомнения.

Клинок короткий, широкий у гарды, сужающийся к острию. Сталь чернёная, не принимает солнечных зайчиков. Обух оснащён грубой зубчатой насечкой для разрезания ремней и пробития кольчуги. Рукоять, плотно обмотанная промасленной кожей, сточена точно под хват, с выемками под пальцы. Никакой красоты. Только необходимое.

Варус скривился, будто учуял падаль.

— И ты всё ещё таскаешь эту поделку? — Генерал шагнул ближе, нависая тенью. — Сир Родерик учил тебя мечу. Честному оружию воина. А ты прячешь за поясом этот крюк мясника?

— Это моё оружие, генерал, — ответила София. Голос ровный, без дрожи. — Я выбираю то, что ложится в руку.

— Ложится в руку? — Варус фыркнул, звук вышел звериным. — Чтобы убить этим, тебе нужно обнять врага. Подойти так близко, чтобы слышать его хрип, видеть бешенство в зрачках.

Или разделить с ним ложе. Против конницы? Против рыцаря в латах? Ты скончаешься, леди, раньше, чем взмахнёшь.

Он ткнул пальцем в кольчужной рукавице в сторону клинка.

— Меч держит дистанцию. Меч — это стена между тобой и смертью. А это — он брезгливо поморщился, — инструмент отчаяния. Или теневого резака. Но не правителя.

Сир Родерик кашлянул, чувствуя, как воздух натягивается, как тетива перед выстрелом.

— Генерал, с вашего позволения Леди работает с кинжалом по моей рекомендации. В тесноте, в свалке, когда меч выбивают или ломают

— В тесноте она должна быть за спинами своих людей! — рявкнул Варус, не дав договорить. Лицо побагровело, шрам на лбу набух кровью. — А не лезть под копыта с кухонным ножом! Родерик, ты старый пёс, ты знаешь ратное дело. Зачем потакаешь её прихотям?

— Потому что это не прихоть, — Родерик осмелел, встретив взгляд генерала. — У леди Софии нет вашей грубой силы. У неё — скорость. Точность. Этот клинок он для мгновений, когда всё летит в бездну. А на войне всё всегда летит в бездну.

Варус медленно повернул голову. В глазу вспыхнул опасный огонёк, но он сдержался. Уважал старика, но сейчас речь шла о крови герцога.

— План один — выстоять и побить, — прорычал он, снова глядя на Софию. — Хочешь быть готовой к «бездне»? Научись держать строй. Научись не подпускать врага. А этот зубастый резак — Покачал головой. — Глупость. Опасная глупость.

Он шагнул вплотную. Запах железа, пота и старой кожи ударил Софии в лицо.

— Герцог Валериус доверил мне мечи. Я клялся беречь его землю и его кровь. Я не позволю тебе сгинуть в первой же потасовке, потому что вздумала играть в убийцу с коротким лезвием. Если хочешь править — научись быть владычицей на поле. А владычица не ползает в грязи, подставляя горло под секиру ради одного удачного укола.

София не отступила. Не отвела глаз. Кинжал лежал в ладони так же естественно, как собственная кость.

— Я не ползаю в грязи, генерал. И не намерена подставлять горло. Меч хорош, пока цел. А этот, — она чуть подняла клинок, чёрная сталь впитала свет, не отразив, — этот не ломается. И ему не нужно много места, чтобы решить исход.

Варус смотрел на неё секунду, две. Во взгляде боролось раздражение и неохотное признание её упрямства. Хотел приказать выбросить. Но видел, как уверенно она держит сталь. Видел, что это не игрушка, а продолжение её воли.

— Упрямая, как твой отец, — пробурчал он, отступая. — И такая же слепая к тому, что ждёт за холмами.

Он развернулся, плащ хлестнул по воздуху.

— Тренируйте её с мечом, Родерик. До мозолей. До дрожи в руках. А эту железяку — кивок на кинжал, — оставьте для кухни. Или для тех, кого она режет в кошмарах. Но в бою я хочу видеть в её руке сталь длиной в предплечье, а не в палец.

Варус тяжело зашагал к выходу, не оглядываясь.

— И чтобы к вечеру знала пехотный строй наизусть! Герцог ждёт вестей с севера, а у нас тут балаган!

Когда тяжёлые шаги стихли в коридоре, Родерик выдохнул, вытирая пот со лба.

— Ну испытание на учтивость провалено. Но если судить по выживанию он просто боится за вас, леди. По-своему.

София медленно вложила кинжал в ножны. Щелчок кожи прозвучал тихо, но отчётливо.

— Он прав в одном, — сказала она, глядя на арку, где скрылся генерал. — Дистанция важна.

Она перевела взгляд на Родерика. В глазах не было обиды. Только холодный расчёт.

— Но он ошибается в другом. Я не собираюсь стоять в пехотном строю. И не собираюсь ждать, пока враг подойдёт. Я буду там, где он не ждёт.

Родерик поморщился, но спорить не стал.

— Как скажете. Но меч всё же держите ближе. Генерал не отступит.

— На сегодня действительно довольно, — кивнула София.

— Ваш отец ждёт. Говорят, с севера прилетела птица.

София кивнула. Она развернулась и пошла к выходу. Кинжал на поясе не звякал, не мешал. Он был просто частью её. Тихой. Смертельной.

Она прошла через внутренний двор, игнорируя склонившиеся спины слуг. Они шептались, едва она появлялась на горизонте. Такая дерзость каралась плетью для любого другого, но София была исключением: она никогда не устраивала сцен. Не исключено, прислуга решила, будто она их не слышит. Ведь говорят, слух — тоже чувство.

— Холодная рыба, — шепнула прачка, перегружая корзину. — Не плакала, когда брат упал с лошади, — подхватила горничная. — Красивая, да. А взгляд пустой. Как после выстрела.

София не обижалась. Обида требует веры в то, что кто-то обязан относиться к тебе лучше. Она не верила в это. Люди были сложными созданиями, движимые страстями, привычками, воспитанием и страхом конца. Она была проще. Или так ей казалось.

В аркадном переходе её перехватил молодой рыцарь. Румяный, в надушенном камзоле, с глазами щенка, ждущего кости. В руках — свиток, перевязанный шёлковой лентой. Очевидно, стихи.

— Леди София, — начал он, преграждая путь. — Позвольте прочитать то, что сложил этой ночью. О ваших глазах, подобных звёздам

— Звёзды холодны и находятся за миллионы миль, — перебила София. — Они сгорели бы, если приблизились. Сравнение неудачное.

Рыцарь моргнул. Улыбка дрогнула, но не исчезла. Настойчивость была частью его плана. — Это поэзия, леди София. Она не требует точности. Она требует чувства.

— Чувства нельзя подделать, сэр Элиас. Но слова можно.

Она обошла его, не дожидаясь ответа. За спиной раздался тяжёлый вздох. Возможно, разочарование. Возможно, злость. Ей было всё равно. Но почему-то шаг замедлился. Вспомнился Мартин. Он не писал стихов. Не пытался понравиться.

Воспоминание всплыло само собой, как пузырёк воздуха в замёрзшем пруду. Их вторая встреча, три недели назад, в оранжерее. Мартин стоял у запотевшего стекла, за которым умирали последние осенние розы. Он не смотрел на неё. Смотрел сквозь. У всех, кто испытывал к ней симпатию, был одинаковый взгляд: вождение, интерес, желание обладать. У Мартина он был иным. Нечто такое, что бывает у человека, который с холма наблюдает, как горит его родная деревня. Что-то неминуемое. Неумолимое.

Я красива. В этом нет скромности. Лишь констатация. Как то, что небо сегодня серое, а вино в кубке кислое. Те, кто клялся в чувствах, говорили о пламени, бабочках, бессонных ночах. Я красива, но пуста. Меня не трогает красота. Ничто не волнует душу. Её либо нет, либо она спит так глубоко, что разбудить способен только топор.

Кормилицы шептались, когда София была ребёнком. Говорили, что родилась без сердца. Матушка, узнав об этом, скорбела неделю. Плакала так, что глаза опухли, словно после укуса пчелы, и сослала баб в дальнюю деревню. Навсегда.

Письмо пришло перед самым ужином. Гонец — загнанная лошадь, покрытая грязью и инаем. Он не вошёл в зал, остался у ворот, передав свиток капитану. Но новости в замке распространялись быстрее вороны. К тому моменту, как София вошла в обеденный зал, герцог уже знал содержание.

Ужин был громким. Слишком громким для места, где должно было царить достоинство. Свечи горели ярко, отбрасывая длинные, дергающиеся тени на гобелены, изображающие победы предков. На ткани люди умирали с улыбками героев, их лица застыли в триумфе, а кровь на полотнах казалась свежей даже спустя столетия. В реальности смерть выглядела иначе. София видела её немного, но смерть оставила чёткий отпечаток: кровь тёмная, запах сладковатый и тошнотворный, глаза стеклянные, как у варёной рыбы.

Посреди зала, над столом, висел герб дома — огромное полотнище, вышитое с такой тщательностью, что каждый стежок казался живым. На красном поле, ярком как запёкшаяся кровь, гордое, не терпящее полутонов. В центре — грифон в боевой стойке. Перья отливали серебром, львиное тело казалось вылитым из золота. Грифон глядел прямо перед собой. Не вниз на подданных. Не вверх на небеса. Прямо. Как равный любому, кто осмелится встретиться взглядом. В лапах, сжатых с угрозой для врагов и защитой для своих, два символа власти. В правой — серебряный ключ. Холодный, блестящий. Символ путей, питающих герцогство золотом. В левой — золотой росток пшеницы, тяжёлый от зёрен. Символ земли, которая никогда не подводила. Герб дышал в свете свечей. Казалось, грифон вот-вот расправит крылья и взмоет под своды, чтобы защитить дом. Но он не мог защитить от ненадёжности союзников.

Отец бросил пергамент на стол. Брызги жира полетели на скатерть. Письмо из Артании лежало между жареным фазаном и блюдом с грушами, словно мёртвая птица среди живых.

— Повременить? — голос отца гремел под сводами. — Он пишет, что у него появились «опасения»? Какие опасения у принца перед лицом союза двух домов?

Герцогиня Элара Вальдберг сидела рядом, прямая как струна. Она любила мужа, а значит, была с ним и за него, покуда жива их клятва. Её гнев был отражением его гнева, как луна отражает солнце, не имея собственного света. Пальцы нервно перебирали золотую цепочку на шее.

— Это оскорбление, — произнесла она, отрезая мясо с хирургической точностью. Нож скрипнул по тарелке. — Неужто наша дочь так дурна, чтобы откладывать помолвку? Неужто дом настолько обеднел, что нами можно пренебречь?

София жевала медленно. Еда имела текстуру. Хлеб жёсткий, мясо волокнистое. Вкуса не было. Как и всегда. Она проглотила кусок, запив водой.

— Он не назвал меня дурнушкой, отец, — сказала она. Голос прозвучал тихо, но зал вдруг притих. Даже факелы, казалось, перестали трещать.

Валериус повернулся. В глазах плескалась буря, которую она не могла разделить. Висок пульсировал. Щёки побагровели. — Он сомневается, София! Сомнение в политике хуже удара кинжалом. Удар можно залечить. Сомнение разъедает доверие, как ржавчина железо. Сегодня он сомневается в помолвке. Завтра — в союзе. Послезавтра его армии будут на границе под любым предлогом.

— Возможно, он просто боится, — заметила София, кладя нож.

Герцог фыркнул, наливая вино. Рука дрогнула. Жидкость плеснулась на скатерть, оставив тёмное пятно, похожее на кровь. — Боится? Чего может бояться наследник северных земель? Мы предлагаем мир, золото, мы предлагаем тебя.

— Излишеств, — поправила София. — А может, и меня. И это его пугает.

Герцогиня нахмурилась. Брови сошлись над переносицей. — София, не говори глупостей. Ты — приз. Ты — награда. Мужчины не боятся наград. Они за них воюют.

— Он не мужчина, который хочет воевать за меня, — указала София. — Он человек, который видит то, чего не видим мы.

— Мистика? — Герцог рассмеялся, но смех вышел коротким и злым. — Ты веришь в сказки нянюшек? В проклятия? Мы живём в эпоху стали и права, София, а не демонов.

— Разве? — София взглянула на отца. — Тогда почему ты так зол? Если это просто политика, ты можешь решить её холодно. Но ты чувствуешь себя униженным. Твоя гордость ранена. И эта рана требует крови. Или хотя бы шума.

В зале повисла тишина. Герцогиня замерла с кубком у губ. Герцог медленно поставил вино. Смотрел на дочь, и в его взгляде впервые появилось не отцовское тепло, а иное. Оценка. Стратег смотрит на оружие, которое вдруг заговорило само.

— Ты говоришь как советник, — тихо сказал он. — А не как невеста.

— Я говорю как наблюдатель, — поправила София.

Герцог помолчал. Затем кивнул, будто принял решение, созревшее ещё до ужина. — Мы поедem к ним всей семьёй. Лично поговорим с этим мальчиком. Покажем, что мы не просители. Мы — партнёры. Если у него страхи — рассеим. Если враги — уничтожим.

Герцогиня кивнула, удовлетворённая. Лицо разгладилось. — Верно. Личное присутствие остудит пыл. Или разогреет, если нужно. Я займусь гардеробом. Мы должны выглядеть безупречно. Нельзя давать повода думать, что мы нуждаемся в союзе.

Родители вновь обратились к дочери, ожидая реакции. Радости? Страха? Протеста? Девочки их круга в этот момент должны были всплеснуть руками, заплакать от счастья или убежать в покои.

София без особого интереса толкнула кончик ножа. Звон металла о фарфор был единственным чистым звуком за вечер. — Как скажете, — произнесла она.

Следовало добавить «Ваша Светлость», — подумалось Софии, но она придержала язык. У отца было сердце. И как поговаривали — оно, бывало, слабым.

Ужин закончился. Герцог ушёл в кабинет, писать ответы вассалам. Герцогиня — к портникам. София осталась одна в зале. Слуги начали убирать со стола, стараясь не смотреть на леди, которая сидела неподвижно в темноте. Она просто существовала, как камень, катящийся под гору. Он не спрашивает, почему катится. Он просто катится.

София родилась в любви. Так утверждала мать, перебирая чётки из чёрного жемчуга. Потом — в страхе. Так говорил отец, по три раза проверяя засовы на дверях детской. Последние годы — в пустоте. Так говорил она сама, глядя в зеркало, где отражение отвечало с вежливой отстранённостью.

Сердце не разбилось. Оно просто перестало биться в такт миру. Не от кинжала, зелья или яда. От тишины, которая поселилась внутри после того, как в семь лет она впервые поняла: объятия матери тёплые, но чужие. Боги хранили молчание. Жрецы говорили о «благородном испытании». Придворные отводили взгляды, словно она была зеркалом, в котором не хотелось видеть свои морщины.

Её лечили. Лекарки прописывали отвары из корня мандрагоры и горячие ванны с солью. Духовники заставляли описывать чувства, которых у неё не было, тыкая пальцы в иллюстрированные фолианты о грехах и добродетелях. Ей показывали подбитых соколов. Читали баллады о рыцарях, умирающих за дам. Одна графиня даже плакала перед ней нарочно, выжимая слёзы луковым соком, надеясь на отклик.

София смотрела. Запоминала. Училась, как учат фехтованию. Наморщенный лоб — грусть или размышление. Голова на бок — внимательное слушание. Голос дрожит на последней гласной — сострадание.

Она тренировалась перед полированным серебром, пока мимика не стала отточенной, как клинок кузнеца. Люди называют это душой. Она называла это ремеслом.

Первым, кто поверил в её игру по-настоящему, был Эмир. Сын оружейника, с мозолями на пальцах и глазами, полными дешёвых поэтических бредней. Он звал её «моя тишина». Она отвечала мягким голосом, гладила по щеке, говорила «да» в нужных местах.

Он умер за неё. Три года назад на облавной охоте, когда раненый вепрь рванул из кустов. Эмир принял удар на себя. Клинок вошёл под ребро, с влажным хрустом рассёк что-то важ-

ное. София стояла рядом. Смотрела, как кровь, тёмная и густая, как винный уксус, стекает по замшелым камням. Думала не о боли. Думала: *«Интересно. Он сжался. Угасает. Как уголь, когда гаснет».*

Потом опустила на колени. Прижала ладони к ране — бесполезный жест. Сказала то, что требовал ритуал:— Эмир прости я

Голос дрогнул ровно там, где нужно. Слезы не появились, но она научилась щурить глаза, чтобы они блестели на свету свечей.

За ней стали следить строже. Судили тише. Придворные шептались, что леди «надломлена горем». Она принимала соблезнования, кланялась под нужным углом, носила траурный шёлк, который колот шею и пах сушёной полынью и затхлым полотном. Внутри царила тишина. Не злая, не грустная. Просто тишина. Плотная, как снег.

Тогда она поняла: любовь — не чувство. Это форма поведения. Как поклон. Как удар мечом. Как подпись под договором. Ты не ощущаешь. Ты исполняешь.

Она стала актрисой без театра. Роли менялись по сезону: покорная дочь, светская спутница, холодная невеста, верная союзница. Маски сидели плотно, как латные рукавицы. Чужие, но привычные. Удобные.

Если её и проклинали — она не искала исцеления. Проклятье избавило от лишнего, оставляя лишь то, что нужно для выживания.

Ночь легла на замок тяжёлым, влажным покрывалом. В спальне пахло остывшим воском, сырой штукатуркой и пылью от гобеленов. София стояла у окна. Свечи давно погасли, но ей не нужен был огонь. Тьма не скрывала. Она проявляла. Зубцы стены, чёрная полоса леса за рвом, бледная полоса реки — всё проступало чётче, чем при свечах.

В груди, там, где должно биться сердце, что-то ёкнуло. Не боль, не страх. Сухой щелчок, словно лопнула перетянутая жильная тетива. Или шестерня в часах, отсчитывающих безупречные годы, вдруг заела. Будто веретено, прывшее ровно годами, вдруг споткнулось.

Гвендолен, её нянюшка, называла упражнение «поиск искры в пепле». София помнила иначе: «найди чувство, которого нет». Задания были бессмысленными, как молитва дождю. Сегодня мысль зацепилась за иное. За неизбежность.

Что видит человек, когда смерть стоит в дверях? Если конец известен, почему лёгкие всё ещё рвут воздух? Почему пальцы сжимают рукоять меча, даже когда кость уже пробита?

Она провела пальцем по стеклу. Отпечаток тут же запотел и стёк, как слеза, которой не было.

Можно ли обмануть судьбу? Или это лишь вопрос того, кто быстрее: ты или время?

Няньки шептали не только о её проклятии. Говорили о ведьмах, что живут за краем карт. О тех, кто не продаёт зелья, а меняет годы жизни на мешочки с золотом. Отец смеялся над этим, считая сказками. Мать обзывала ересью. София считала это возможностью. Если судьбу можно узнать — её можно перехитрить. Как перекрывают удар, ломают клинок о колено или переплавляют его в новый.

Она отошла от окна. В полированном серебре отразилось лицо. Правильные черты. Холодные глаза. Пустота, которую можно было принять за спокойствие.

— Кто ты? — спросила она.

Отражение молчало. Но за спиной, в углу, где тень сгущалась у сундука, кто-то сделал вдох. Чужой. Влажный. Тяжёлый, как мехи кузнеца, раздувающего тлеющие угли.

София не обернулась. Страх — роскошь для тех, у кого есть что терять. Но тело помнило уроки выживания, встроенные в плоть. Пальцы скользнули по столу, нашли холодную рукоять кинжала. Кости не звенели. Дыхание не сбилось. Только мышцы напряглись, готовые к броску.

— Знать, кто придёт. Знать, когда. Знать, как парировать, — говорила она темноте. — Но не знать, зачем и почему.

Тишина ответила шелестом. Не то ветром в дымоходе. Не то мыши в половицах. Не то шуршание ткани по камню тени, отступающей обратно в расщелину между мирами.

София не стала зажигать огниво. Легла на кровать в платье, не распуская кос. Закрыла глаза.

Завтра они выезжали на север. Ветер уже нёс запах сосны, мокрой шерсти, дыма и чего-то металлического. Чего-то, что она ещё не знала, но уже ждала.

Рассвет застал замок в лихорадке сборов. Коридоры наполнились топотом сапог, скрипом тележных осей, грубыми окриками конюхов. Слуги метались, как муравьи перед пожаром, волокли сундуки, тюки с шерстью и мешки с провизией. Отец называл это «визитом вежливости», хотя больше напоминало подготовку к войне. Но в правящих домах, где мечи висели над каждым камином, любой визит кортежа с печатями и вооружённой охраной мог стать прелюдией к осаде. Таковы были правила игры: сначала улыбки. Потом мечи.

София стояла у комода, не мешаясь под ногами, но и не помогая. Её дорожная сумка была собрана ещё с вечера: две смены одежды из плотного сукна, походный кинжал с рукоятью, обмотанной кожей, да пара трактатов по истории династий. Всё остальное — балласт.

Служанка, молодая девушка с красными от недосыпа глазами и обветренными пальцами, склонилась, застёгивая медную пряжку на плаще. Металл охлаждал кожу.

— Готово, леди София. Карета подана.

София кивнула. Девушка выпрямилась, и в этот момент дверь распахнулась без стука.

В комнату вошла мать. Герцогиня Элара выглядела так, будто ночь провела не в постели, а в седле. Тяжёлый бархат платья скрывал худобу, но не мог скрыть тени под глазами, которые она тщательно замазала белилами. На шее холодным огнём горело рубиновое ожерелье — родовая реликвия, которую надевали лишь тогда, когда речь шла о мирах, висевших на волоске. Камни казались каплями застывшей крови на бледной коже.

— Выйди, — бросила она служанке. Голос был тихим, но с тем самым подтекстом, от которого у слуг перехватывало дыхание.

Девушка испуганно присела в поклоне и выскочила, плотно прикрыв дверь. Щелчок замка прозвучал слишком громко в наступившей тишине.

София не двинулась. Она знала этот взгляд. Мать не приходила просто так, особенно утром, когда каждый момент был расписан по минутам. Если отослала слуг — разговор не для лишних ушей. Значит, речь пойдёт о том, что нельзя говорить при дворе.

— Ты опять ничего не взяла, — мать обвела взглядом комнату, пальцы нервно сминали складку юбки. — Ни мехов, ни запасных платьев. На севере ветер режет, как бритва. Ты замёрзнешь.

— У меня есть плащ и шерсть. Не замёрзну, матушка.

— Дело не в тепле! — голос сорвался, но Элара тут же взяла себя в руки, понизив до шёпота. Шагнула ближе, и запах её духов ударил Софии в нос: лилии, увядшие на морозе, и что-то горькое, вроде полыни. — Дело в том, как ты несёшь себя. Ты едешь к ним как на казнь. Лицо каменное. Спина как древко копья. Ни улыбки. Ни тени страха.

— Зачем мне улыбаться? — София спокойно поправила ремешок на сумке. — И уж тем более бояться? Мы едем говорить о союзе, который может обернуться войной. Улыбка здесь выглядит как наглость. А страх — как слабость.

Элара остановилась в шаге от неё. В глазах плескалось то, что копилось годами: отчаяние, злость, бессилие. Она протянула руку, будто хотела коснуться щеки дочери, но пальцы дрогнули и замерли в воздухе.

— Ты думаешь, я не вижу? Ты смотришь на людей, как на мебель. Отец терпит, говорит, что это особенность характера. Что ты просто серьёзная. Но я выносила тебя в своей утробе, София. Я согревала тебя теплом своего тела девять месяцев. Наши сердца бились в унисон. Я чувствовала, как ты толкаешься, когда была рада. Как замирала, когда спала.

София молчала. Она слышала эту речь раньше. Год назад. Два. Каждый раз, когда придворные отпускали шпильки, а дамы шептались за веерами.

— Ты не можешь быть бездушной, — продолжила мать, и в голосе прорезались нотки мольбы. — Это против природы. В тебе есть частичка меня. Кровь — не вода. Мы одной плоти.

— По крови — да, — ответила София. — Но остальное

— Не перебивай! — Элара резко опустила руку. — Я не хочу рассуждений. Я хочу, чтобы ты попробовала. Хотя бы в этой поездке. Не будь как снег. О нём никто не вспоминает весной. Он тает, оставляя лишь грязь и лужи. Люди ждут солнца. — Она подошла вплотную. София видела расширенные зрачки, напряжённую жилку на шее, тонкий слой белил, осыпающийся с ресниц. — Будь как огонь. Его следы остаются на века. Огонь греет, защищает, заставляет помнить. Если выступишь как пламя, принц не посмеет отвергнуть сватовство. Лорды придержат языки. Ты сожжёшь их сомнения.

София смотрела на мать. Видела любовь — искажённую, непонимающую, требовательную, слепую, но настоящую. Элара хотела спасти её. Не от войны. Не от смерти. От неё самой. Она верила, что внутри спрятана обычная девочка, которую нужно просто разбудить, растормошить, заставить почувствовать.

Но нельзя разбудить того, кто не спит. Нельзя научить петь того, у кого связки пережжены.

София не стала спорить. Она уже пробовала и знала: это бессмысленно. Несколько лет назад, в этой же комнате, сказала прямо: внутри пустота. Она видит эмоции других, как цвета, но не может их воспроизвести. Мать плакала три дня. Виля себя. Богов. Кормилиц. Теперь София знала: мать не виновата. У неё с душой было всё в порядке. Она чувствовала слишком много. Страдала за двоих. Проблема была в самой Софии.

Если у меня и осталась часть её души, — размышляла София, глядя на дрожащие руки герцогини, — то очень крохотная. Её хватит, чтобы смочить губы, не больше. Как пытаться вычерпать море напёрстком.

— Я сделаю всё, что требуется для союза, — огласила София ровным голосом. Без обещаний, которые не могла выполнить. — Отец не потеряет лица.

Элара замерла. Искала в глазах дочери искру, хоть какой-то отклик. Но увидела лишь своё собственное отражение — уставшее, напуганное, стареющее.

— Ты рассуждаешь как капитан гвардии, — тихо сказала она. — А не как дочь.

— Я дочь герцога. Это одно и то же.

Плечи матери опустились. Блеск в глазах погас, сменившись привычной, тяжёлой усталостью. Она поняла: сегодня победы не будет. Не будет завтра. Надежда стала скромнее. Но не угасла.

— Поправь воротник, — вдруг сказала она, меняя тон на будничный. — Перекошен. Выглядит неряшливо.

София послушно подняла руку, выровняла плотную ткань.

— Так лучше. — Мать кивнула. Повернулась к двери, но замерла на пороге. Не обернулась: — Когда приедем Постарайся посмотреть ему в глаза. Не сквозь него. В глаза. Может быть, он увидит то, чего не видим мы.

— Он уже видел, — напомнила София. — Поэтому и тянет с ответом.

Элара дёрнула плечами, будто от сквозняка, и вышла. Дверь закрылась.

Тишина вернулась в комнату, но теперь казалась другой. Плотной. Напряжённой.

Будь горячей, как огонь.

София подошла к столу. На подносе догорала свеча. Пламя колыхнулось, бросая тени на стену. Она поднесла палец ближе. Тепло коснулось кожи. Знает: если прикоснётся вплотную, будет больно. Останется ожог. Шрам. Но ей не нужно было жечь и оставлять следов. Ей нужно было дожить.

Она отвела руку. Проверила кинжал на поясе. Лезвие вышло из ножен легко, беззвучно. Сталь холодила ладонь. Как и всё внутри.

Снег тает, — припомнила она слова старого магистра. *Огонь сжигает. Но лёд Лёд хранит память.*

За окном затрубил рог. Сбор.

София выдохнула. Впервые за утро она сделала что-то, что можно было принять за эмоцию. Но это был просто воздух. Механика лёгких, требующих кислорода. Она задула свечу. Комната погрузилась в серый полумрак.

— Я посмотрю ему в глаза, матушка, — сказала она в пустоту. — Но боюсь, что он увидит там только себя. И свой конец.

Она вышла, прикрыв дверь так тихо, что петля не скрипнула. В коридоре её уже ждали. Камень пола был холодным под подошвой. Она шла впереди, не оглядываясь. Путь начинался.

Воин без могилы

*Второй осколок упал в тело воина,
Который искал достойной смерти.
«Убей меня», — просил он,
Но раны его заживали сами,
И смерть отвернулась от него, как от прокаженного.
Его дар — жить, когда жизнь стала пыткой.*

Дождь в этом городе не шёл — он висел в воздухе тяжёлой взвесью, пропитывая шерсть, кожу и кости. Эрик стоял под навесом полуразрушенной конюшни, стряхивая капли с плаща, и смотрел на дверь напротив. Там, за тонкой деревянной перегородкой, решалась судьба герцогства, хотя хозяин кабинета предпочитал называть это «делёжом трона».

Эрика не волновала политика. Господа менялись, как времена года. Одни приносили подати, другие — реквизиции, но для наёмника разница крылась лишь в цене сделки да шансах не дожить до расплаты. Этот заказ был иным. Не из-за золота — мешок с монетами не тянул сумку к земле, а тратить их Эрику было не на что. Вечности не нужны были шелка. Ей требовалось дело, чтобы не сойти с ума от тишины между схватками.

Он постучал. Три коротких удара. Условный знак.

Дверь отворилась, выпуская запах сырости, старого пергамента и кисловатого пота. Страх пах именно так — перебродившим вином, холодным потом и воском, что не горит, а тлеет. Он въедался в половицы, оседал на гобеленах, маскировался под благовония. Эрик узнавал его с первого вдоха. Чувствовал в каждом, кто заказывал смерть.

Эрик шагнул внутрь. Сапоги оставили тёмные следы на дорогом ковре. Хозяин не поморщился. Лишь чуть крепче сжал пальцы на ножке кубка. Комнату освещали три огарка на массивном столе, заваленном картами, свитками и чертежами осадных машин. Свет казался тусклым, будто воск был смешан с чем-то, что жадно пило пламя. За столом сидел человек в бархатном камзоле цвета полуночи. Лицо в тени, лишь подбородок да руки, лежащие на пергаменте. Карты Розенгарда.

— Присланный ворон обещал точность, — констатировал Эрик.

— Обещал. А ты опоздал, — голос из тени был бархатным, как ткань камзола, вкрадчивым, но в нём слышалась сталь, скрытая под слоем любезности.

— Дождь. — Эрик сбросил плащ на скамью. Под ним — потёртая кожаная кираса, под ней — шрамы. Одни бледные, как высохшие русла, другие розовые, едва затянувшиеся. — Дороги размыло. Мост на Тростниковой снесло, пришлось обходить через брод.

— Хочется верить, что твоя надёжность не зависит от погоды.

Человек откинул капюшон. Граф Морит, канцлер Вальдберга, действующий от имени герцога Валериуса. Человек, что держал нити герцогства в мягких, ухоженных руках. Тот, что улыбался герцогу в лицо и точил нож за его спиной. Эрик не моргнул. Он видел таких сотнями. Амбиции, приправленные подлостью, всегда пахли одинаково — перегоревшим железом и гнилью.

— Каков план? — поинтересовался Эрик. Он не любил лишних слов. Слова оставляли следы, а следы вели к виселице.

Морит провёл пальцем по карте, указывая на столицу. Сделал глоток вина. Глаза не отрывались от наёмника.

— Вальдберг переживает смуту. Герцог стареет. Герцогиня слишком чувствительна для этих дней. Довожу до твоего сведения: они должны уйти. Несчастный случай. Хворь. Пожар в конюшне. Мне всё равно, как это будет выглядеть. Главное — естественно.

— Естественно, — Эрик едва сдержал усмешку. — А наследники?

Тишина повисла тяжёлой, вязкой. Морит провёл пальцем по линии, обозначающей дорогу к охотничьим угольям.

— Лорд-наследник, к сожалению, упал с лошади несколько лет назад, — в голосе прозвучала печаль. Искренняя или хорошо отрепетированная — Эрику было без разницы. — Упал на полном скаку. Шея не выдержала. Трагедия для нас всех.

— Лошади редко ломают шеи наследникам просто так, — указал Эрик. — Особенно когда рядом есть люди, заинтересованные в перемене власти. В мире, где правят люди, случайности случаются лишь тогда, когда за них платят.

Морит улыбнулся, кивая. Улыбка не тронула его глаз.

— Осталась младшая дочь. — Палец сместился на северную башню замка.

— Слышал о ней, — Эрик оперся ладонью о стол. Дерево жалобно скрипнуло. — Говорят, пустая.

— Пустая? — Морит подался вперёд. — Нет, наёмник. Пустота — это когда нет ничего. А у неё холод. Ледяная голова. Все клеймят её бездушной, но для трона это может выйти даже лучше, чем горячее сердце. Сердце мешает принимать решения. Холод позволяет резать, не дрожа рукой.

Он встал, обошёл стол. Теперь они стояли лицом к лицу. Канцлер был выше, но в присутствии наёмника казался меньше. От Эрика пахло землёй, железом и чем-то древним, чему нельзя было дать имя.

— Бездушная леди?

— Бездушная кукла, — поправил Морит. — Трон будет ей впору. Она не станет мстить. У неё нет для этого топлива. Но лучше перестраховаться. Если окажется на пути — устраните и её.

— Двойная награда, — рассудил Эрик.

— Согласен.

Морит придвинул мешок с золотом. Тяжёлый, звонкий. Эрик не стал пересчитывать. Вес был верным.

— Когда?

— Через три недели. Бал в честь дня рождения герцога. Стража будет расслаблена. Вино — отравлено. Но нужен кто-то, кто проследит, чтобы кубки были полны. И чтобы никто не вышел из зала живым, если план даст сбой.

— Грязная работа, — заметил Эрик.

— Самая важная, — парировал Морит. — Ты ведь не брезгуешь грязью, наёмник? Я слышал о тебе. Эрик из Лангриджа. Тот, кто не умирает.

Эрик замер. Рука, тянувшаяся к мешку, остановилась в воздухе. Всё тело напряглось, как тетива. Он потратил немало сил, чтобы вычеркнуть себя из хроник Лангриджа. Те, кто помнил его до пепла, давно лежали в земле. Эрик не стал гадать, какими источниками располагает Морит. Приказал телу расслабиться. Лицо осталось каменным.

— Слухи преувеличивают.

— Может быть, — Морит наклонился. Свеча выхватила блеск в его глазах. — Но мне нужны именно твои навыки. Если что-то пойдёт не так если герцогу понадобится личный удар мечом ты ведь не откажешься?

— За отдельную плату.

— Разумеется.

Эрик взял мешок. Кожа холодила ладонь. Он сжал монеты, золото впилось в кожу. Прочувствовал вес сделки. Это было не просто убийство. Это была игра в куклы. Морит хотел дёргать за нити, а Эрик должен был стать ножницами, что обрежут их в нужный миг.

— Я дам знать, когда всё будет готово, — наёмник повернулся к выходу.

Морит сделал шаг вперёд и резко схватил его за запястье. Пальцы канцлера впились в кожу, сжимая руку с золотом на весу. Хватка была сильной, нервной, пахнувшей дешёвыми духами и потом.

Эрик лишь благодаря годам тренировок удержался от того, чтобы не выхватить меч. Чутьё требовало крови. Разум напомнил о сделке. Пока что.

Морит навис над ним, пытаясь казаться больше и опаснее. В его глазах плясал огонёк власти.

— Я знаю о твоей силе, наёмник, — прошипел он, понижая голос до доверительного шёпота, звучавшего как угроза. — Но это не помешает мне превратить её в слабость. Если ты впрямь бессмертен, как шепчут легенды

Эрик резко одёрнул руку. Кожа на запястье покраснела, но следы исчезли почти мгновенно, стоило Мориту разжать пальцы.

— Тогда тебе стоит припасти ведьму, что сможет меня убить, — бросил Эрик, глядя на канцлера сверху вниз. — Иначе твои угрозы — просто воздух.

Морит выпрямился. Поправил камзол, возвращая себе маску достоинства.

— Тогда ты получишь то, чего отчаянно жаждешь, — канцлер ехидно улыбнулся, обнажив желтоватые зубы. — Но помни: я не джинн, желаний не исполняю. Я их использую. Если подведёшь меня, я изобрету для тебя особую пытку. Испытаю твоё бессмертие. Оживёшь — я убью тебя. Снова оживёшь — снова убью. Раз за разом. Пока не начнёшь молить, чтобы я забыл о твоём существовании.

Взгляд Эрика потупился. В воздухе повис образ бесконечной боли, повторяющейся и бессмысленной. Это было единственное, чего он боялся больше, чем жизни. Не смерти, а замкнутого круга.

Однако у наёмника давно было верное средство от страха. Он искал конца годами. Целое столетие. К чему бояться угроз человека, что трепещет перед собственной тенью? Угроза вечной муки стала для него не наказанием, а заманчивым предложением. Может, в тысячный раз боль наконец окажется той самой, что не затянется?

Эрик медленно повернул голову. Взгляд его стал тяжёлым, как могильная плита.

— Когда правящая чета уйдёт в небытие, я надеюсь дожить до того дня, когда тебя самого сбросят с трона, канцлер Морит, — голос оставался спокойным, без злобы. Простая констатация. Вероятный исход в ближайшие дни. Чтобы понять, чем обернётся та или иная ставка, не нужно быть пророком. — Приятно иметь дело с достойным человеком, — съязвил Эрик, выдавливая подобие улыбки.

Он вышел из кабинета, оставив дверь приоткрытой. Холодный воздух неоттапливаемого коридора позволил ему свободно вдохнуть, смывая запах страха и кислого вина.

Морит остался стоять посреди комнаты. Его рука всё ещё была вытянута в жесте угрозы, но пальцы дрожали. Он смотрел на вход, где только что растворился наёмник. Обескураженность сменилась холодным, липким страхом. В словах того не было бравады. Было знание. Знание того, что трон, который Морит ещё официально не занял, уже шатается под ним. Смерть бродит рядом, а бессмертный считает его ничтожеством.

Канцлер медленно опустил руку. Долил вино в кубок и залпом опустошил его, хотя не почувствовал вкуса.

— Сбросят — прошептал он в пустоту.

Открытая дверь породила сквозняк. Пламя свечи заметалось. Морит вздрогнул. Ему показалось, что он услышал смех. Сухой и безрадостный. Смех человека, что знает: наёмник прав. Человек насмеялся над Моритом.

«У неё нет души.» — Странное определение для живого. Обычно говорили: «злая», «гордая», «слабая». Но «нет души»? Звучало как приговор. Или как факт, что кто-то проверил лично.

Эрик миновал ползатка, пока наконец не вышел во двор. Воздух резал лёгкие свежестью. Ровно до конюшен. Там пахло потом, прелым сеном и конским навозом. Для наёмника, чья жизнь прошла в седле, этот запах был милее любых благовоний. Он вдохнул полной грудью. Лёгкие работали ровно, сердце стучало в ритме. Тело — старый доспех, вмятый, но не пробитый. Отказывалось ломаться, сколько бы ударов ни приняло.

Его пепельно-серая кобыла хромала на переднюю ногу. Рёбра проступали под жёсткой, сбитой ветрами шерстью, а крупные тёмные глаза смотрели на мир с тем же выжженным спокойствием, что и у хозяина. Эрик любил её за то, что она была такой же уставшей, как и он.

— Пора в дорогу, Смерть, — пробормотал он, поглаживая шею кобылы.

Как и всех предыдущих, он назвал её Смерть. Глупое имя для живого существа, но Эрик знал: она умрёт рано или поздно, но точно раньше него. Каждая находила покой, который Эрик тщетно искал из года в год. И каждый раз, хороня очередную «Смерть», он завидовал ей чуть больше, чем живым. В этом была единственная честность между ними. Порой несущая смерть, однажды понёсшая её на себе.

Кобыла фыркнула в ответ. Эрик вскочил в седло. Движение привычное, отточенное годами.

Ворота расхотелись с протяжным, болезненным стоном ржавого металла, будто сама крепость не желала отпускать того, кто однажды переступил её порог. Эрик не торопил лошадь. Стражники на стенах замерли, руки на эфесах не в угрозе, а в защитном жесте, словно ожидали, что сам воздух вокруг всадника может вспыхнуть или обратиться в яд. Они косились, скользили взглядом по шрамам, потёртому плащу, лицу, что не старело. В их глазах читался суеверный ужас, тот самый, с каким смотрят на могильный камень, вдруг покрывшейся инеем в июле.

Эрик не раздражался. За столетие кожа его души огрубела, как подошва сапога. Чужой страх и брезгливость соскальзывали, не задевая. Он давно понял: для них он диковинка, для себя — уставший путник, что постоянно в дороге. Стоять на месте — значит думать. Думать — значит вспоминать. А воспоминания были единственным оружием, что могло ранить того, кто не может умереть.

Кобыла переступила с ноги на ногу, выдыхая облачко пара. Она несла на себе не только всадника, но и его проклятье. Стражники наконец дёрнули рычаги, скрежет механизмов заглушил тишину, давая знать: путь открыт. Кобыла шагнула вперёд, не дожидаясь шпор.

— Веди, — тихо сказал он.

Копыта ступили на грязь за воротами. Звук стал глуше, мягче. Эрик не обернулся. Замок был очередной иллюзией безопасности, что давали каменные стены. Ворота за спиной начнут сходиться, отрезая его от мира, что боялся и не понимал его. Впереди — серая лента тракта, уходящая в туман. Пусть шепчут легенды, демоном он или святым. Легенды не греют. Слава не заменит сон без сновидений.

Он ехал, чувствуя, как каждый шаг уносит его дальше от жизни, которой не мог иметь, и ближе к концу, что его игнорировал.

Ветер выл в ушах, заглушая мысли. Благо. В тишине голоса прошлого становились слишком громкими. Он вспоминал лица тех, кого любил, кого убил, кто умер у него на руках. Каждое лицо — удар кинжала, не оставляющий раны. Только шрам на памяти.

Кобыла споткнулась на камне. Эрик подался вперёд, удерживая равновесие, не дёрнул поводья. Он не злился на животное, потому что понимал её боль и усталость. Два существа, что двигались лишь потому, что остановка означала бы признание бессмысленности. Дорога ушла за грядой холмов. За ней — ещё один день, ещё одна ночь. Он, лошадь и бесконечная колея, тянущаяся к горизонту, как забытая кем-то верёвка.

К вечеру замок остался далеко. Эрик остановился у ручья. Вода была чистой, ледяной. Кобыла пила жадно. Он смочил лицо, надеясь смыть пыль и липкое ощущение чужих взглядов.

В ряби увидел своё отражение. Оно показалось ему чужим. Человек, переживший слишком много, чтобы оставаться собой.

Солнце село, окрасив небо в цвет ржавчины. Тени слились с туманом. Костра не разводил. Привязал лошадь к сухому дубу, сел рядом, прислонившись к коре. Закрыв глаза, но не для сна. Чтобы послушать тишину. Здесь она была плотнее. В этой тишине не было шёпота стражников, лязга стали, только ветер и дыхание лошади.

Завтра будет таким же. Бессмертие не приносило разнообразия. Оно приносило предсказуемость. Одни и те же действия, мысли, надежды, что умирали на рассвете. Но Эрик ехал. Остановка означала поражение. Он был слишком горд, чтобы сдаться даже смерти. Пусть он был чучелом в янтаре. Но это чучело всё ещё могло ходить. А пока оно ходит, у него была цель. Пусть даже иллюзорная.

Ветер усилился, принося запах дождя и прели. Эрик плотнее закутался в плащ. Холод пробирал до костей. Приятное напоминание: он ещё существует. Ещё чувствует неудобство. Ещё не стал камнем. Он погладил рукоять меча, металл отозвался холодом. Верный и постоянный в отличие от всего остального в его жизни.

Разговор с Моритом не давал покоя.

Бездушная леди. Если у неё и впрямь нет души, может, нет и судьбы? А если нет судьбы, может, её рука способна оборвать мою нить?

Его пальцы коснулись груди. Под бронёй, над сердцем, был шрам. Не обычный. Он не затягивался до конца. Кожа всегда оставалась темнее, грубее. Будто тело помнило: здесь должна быть дыра.

— Если ты сможешь убить меня, девочка, — прошептал он в ветер, — я даже не стану сопротивляться. Только не тяни.

Первая смерть была честной. Эрик помнил это ясно, будто она случилась вчера, хотя прошло больше девяноста лет. Он был солдатом. Молодым, глупым, верящим в героев и приключения. Его полк стоял под Вернатом. Туман лежал густой пеленой, цепляясь за плащи, глушил звуки шагов и дыхания. Они ждали приказа. Верили, что сражаются за правое дело, за границы, за короля, чьё имя чеканили на монетах.

Когда копьё вошло ему в живот, Эрик не закричал. Он просто упал. Грязь была холодной, липкой, с привкусом перегнившей соломы и меди. Вкус крови во рту оказался знакомым до тошноты. Темнело. Сердце билось всё реже, отстукивая неровный ритм. Он чувствовал, как тепло уходит из пальцев, как сознание растворяется в чёрной, тихой воде. Он был готов. Принял это. Конец.

Но потом — вдох. Резкий и болезненный, как удар кнутом по лёгким. Эрик открыл глаза. Лежал на поле среди мёртвых. Вороны клевали глаза товарищам, распарывали животы, тянули кишки. А он дышал. Копьё лежало рядом, древко расщеплено. Рана затягивалась на глазах, розовея, срастаясь, оставляя лишь грубый рубец.

Эрик поднялся и закричал. Позвал лекарей, но они боялись его. Крестились, отступали, шептали про нечисть и богохульство. С тех пор он умирал по меньшей мере тысячу раз. Яд, огонь, вода, сталь, верёвка, падение с обрыва. Эрик пробовал всё. Искал конец. Но конец всегда отступал, как трус, прячущийся за чужими спинами.

Он не бессмертен. Он смертен — снова и снова. И каждая смерть настоящая. Эрик чувствует боль: как ломаются кости, как рвутся лёгкие, как кровь уходит в землю, оставляя холод. Он умирает как все, чувствует страх, молит о пощаде у пустоты. Эрик просто не мог остаться мёртвым.

Сначала он кричал. Потом умолял. Затем стал тихим. Перестал пить воду, перестал есть. Надеялся, что тело сдастся. И оно сдалось. Через семь дней сердце остановилось.

Через три минуты — снова забилося. Ровно, безжалостно, как заведённые часы, что тикают сами по себе.

Эрик ходил к жрецам. Они говорили:

— Ты проклят. И это справедливо.

Он не спросил за что. Знал. Где-то в прошлом была битва. И в той битве он спас себя, а не друга. Убил пленного. Не было нужды, он просто мог — и сделал. Сказал женщине, прячущейся в амбаре:

— Беги.

А сам обернулся спиной. И услышал, как её догнали. Её крик оборвался резко, будто перерезанная нить.

С тех пор он умирает за всех, кого не спас. Верит в это. Потому что иначе — зачем?

Его боль — это расплата. Каждый ожог, каждый удар, каждый разорванный нерв — всё это нужно, чтобы чувствовать: он ещё человек. Что он ещё платит по счетам.

Он не знал, за что именно проклят. Не знал, кто его проклял. Только чувствовал: каждая смерть оставляет трещину. Он был глиняным сосудом, что ещё держит воду, но уже не может её сохранить. Жидкость сочилась сквозь тонкие щели, оставляя белый налёт соли на стенках.

Эрик убивал многих. Королей, моливших о пощаде, обещавших золото и земли. Рыцарей, умирающих с честью, выпрямив спины. Разбойников, умирающих со смехом, плюясь кровью. Детей, умирающих с вопросом в глазах, словно не понимавших, почему железо такое холодное. Никто не смог убить его по-настоящему. Нож тупился о кожу, яд превращался в воду в чреве, заклинания рассеивались, не долетая до цели. Огонь Он был самым жестоким, потому что позволял прожить всю муку — каково это, сгорать заживо, чувствовать, как лопаются кожа, как жилы сворачиваются, как лёгкие плавятся изнутри, но не позволял навсегда обратиться в пепел.

Из всех способов, которыми его пытались или он сам пытался лишиться жизни, гореть заживо понравилось Эрику меньше всего. Но знай он наверняка, что пламя спалит его дотла — шагнул бы в него добровольно.

Дождь докучал. Тяжёлый, ледяной, проникал под плащ, за шиворот, в сапоги, превращая путь в бесконечную борьбу. Небо давило низко, серое и бесформенное, будто промокший войлок, готовый вот-вот рухнуть на землю. Ветер не дул, он протяжно выдыхал, выворачивая деревья наизнанку и срывая последние листья, и так почерневшие от сырости. Глина на дороге не просто липла — она засасывала, чавкала под копытами, тянула вниз с тупым, настойчивым упрямством. Будто земля хотела вернуть то, что по праву принадлежит ей.

Эрик ехал сквозь это уже третий день. Кобыла ступала тяжело, каждый шаг давался ей через силу, мышцы дрожали от натуги. Он чувствовал эту дрожь через седло, и она отдавалась в груди глухим, знакомым отзвуком. Завидовал ли ей? В чём-то — да. Лошадь могла сломать ногу. Её можно было прирезать из милосердия. Эрик же не мог рассчитывать даже на милосердную смерть.

Впереди, сквозь пелену воды, проступили очертания деревни. Вернее, того, что от неё осталось. Сгоревшие остовы домов, чёрные пни вместо деревьев, тишина, громче любого крика. Чума или война — неважно. Итог один. Жизнь уходила, оставляя лишь грязь и пепел. Но чуть дальше, на пригорке, виднелся огонь. Одинокий свет в окне придорожного трактира. Вывеска скрипела на ветру, издавая звук, похожий на скрежет костей. На доске, выжженной временем и непогодой, красовался волк с зашитыми глазами.

«Слепой Волк» — хорошее название. В этом мире лучше не видеть того, что происходит за спиной.

Эрик натянул поводья. Смерть фыркнула, мотая головой. Бока ходили ходуном, мышцы дрожали от усталости.

— Знаю, старая, — пробормотал Эрик, поглаживая мокрую шею. — Ещё немного.

Он подъехал к крыльцу. Доски прогнулись под весом человека и лошади, вздохнули, выпуская запах гнилого дерева. Эрик спешил, ноги увязли в грязи до лодыжки. Не чувство-

вал холода, проникающего сквозь сапоги, но видел пар, идущий от кожи кобылы, слышал, как тяжело она дышит.

— Накорми её, — сказал он, входя внутрь. — Овса, сена и воды. Тёплой, если есть.

Трактирщик, мужчина с лицом, похожим на помятый кожаный мяч, посмотрел на него сверху вниз. В глазах мелькнуло узнавание. Не имени — типа. Он видел таких раньше. Наёмники. Убийцы. Люди, от которых пахнет железом и старой кровью.

— Деньги вперёд, — с недоверием пробасил трактирщик, вытирая руки о грязный фартук.

Эрик бросил на стойку золотую монету. Не из тех, что дал Морит. Старую, потёртую, с гербом, что уже не чеканят.

— Комната и ужин. Ничего не спрашивай.

Трактирщик быстро убрал монету. Эрик понял: здесь не любили вопросов. Вопросы здесь стоили дороже еды.

— Последняя комната наверху. Вон там, в углу, можешь погреться.

Эрик прошёл в зал. Внутри было тепло. Пахло жареным мясом, дешёвым элем и дымом жжёных трав, вьёвшимся в балки. Шум стоял плотной стеной. Смех, споры, звон кружек, стук костей на столе. Жизнь кипела, бурлила, стремилась продолжаться. Эрика это раздражало. Эти люди тратили дни так бездумно, будто у них был запасной мешок в кармане. Будто завтра гарантированно наступит.

Он прошёл через зал, окидывая взглядом присутствующих. Профессиональная привычка. Оценить угрозы. Найти выходы. Заметить тех, кто слишком тихо сидит в углу. Ничего примечательного не обнаружил. Устроился за дальний стол, спиной к стене, лицом к двери. Снял плащ. Ткань была тяжёлой, пропитанной водой. Под ней виднелась рубаха, местами прилипшая к коже. Там, где ткань отходила, виднелись шрамы. Свежие розовые полосы пересекали старые белые рубцы. Тело работало. Заживляло то, что должно было убить.

— Эля, — сказал он подошедшей девушке.

Она поставила кружку и быстро ушла, стараясь не смотреть в глаза. Он взял кружку, сделал глоток. Эль был тёплым, кислым. Жидкость обожгла горло. Боль. Настоящая боль. Эрик улыбнулся.

— За тех, кто уходит, — прошептал он в пену. И выпил до дна.

Вторая кружка пошла легче. Третья — уже без вкуса. Эрик не пьянел. Его организм восстанавливался быстрее, чем хмель успевал отравить. Но тепло разливалось по чреву, и это было приятно. Заглушало внутренний зуд, то ощущение, что под кожей кто-то ползает, сшивая разорванные жилы и затягивая раны.

Он сидел долго. Огонь в камине догорал, оставляя его наедине с тишиной, пробивавшейся сквозь гул зала. Трактирщик задул свечи, оставив лишь одну на стойке.

— Эй, — окликнул он Эрика. — Комната готова. Или здесь ночевать будешь?

— Здесь, — ответил Эрик. — Ближе к огню.

— Как хочешь. Только не угори.

Эрик остался. Положил голову на руки. Закрыв глаза. Сон не приходил. Приходили воспоминания.

Поле под Вернатом. Копьё в груди. Темнота. Вдох.

Горящий дом. Жар. Обвалившаяся балка. Вдох.

Трясина. Вода в лёгких. Холод. Вдох.

Каждый раз он возвращался. Каждый раз тело собирало его заново, как гончар лепит кувшин из осколков. Но иногда казалось, что осколков не хватает, поэтому внутри остаётся пустота, которую заполняет только боль.

Эрик задремал только под утро. Снилось, что он умер. И наконец-то не проснулся.

Он проснулся с криком, сжимая рукоять меча. В зале было пусто. Только трактирщик тёр стойку тряпкой. Монотонно, без энтузиазма.

— Проснулся, живой, — заметил он без интереса. — Завтрак будешь?

— Нет, — Эрик встал. Кости хрустнули. Звук был громким в тишине. — Как лошадь?

— Живая. Устала очень. Ты её загнал, воин.

Эрик кивнул. Вышел на улицу. Погода стала хуже. Ветер усилился, принося запах дождя и гнилой листвы. Небо было свинцовым, низким, будто готовым рухнуть на землю.

Смерть стояла в навесе, жевала сено. Увидев хозяина, тихо заржала. Эрик подошёл, приложил ладонь к боку. Сердце билось часто, слабо.

— Прости, — сказал он. — Не можем идти, пока ты так слаба.

Он вернулся в трактир.

— Остаюсь ещё на день, — объявил трактирщику. — Буря.

— Плата вперёд, — привычно ответил тот.

Эрик бросил ещё монету.

День тянулся медленно. Ветер выл в трубе, заставляя пламя в очаге плясать дикую пляску. Эрик сидел у огня, точил меч. Лезвие было старым, но острым. Водил камнем по стали, убирая зазубрины, появлявшиеся после каждой драки.

Вжик. Вжик. Вжик. Звук убаюкивал.

К вечеру буря достигла пика. Дождь барабанил по крыше так, что казалось, будто по черепице ходят великаны. В трактир забились несколько местных, спасаясь от непогоды. Говорили о неурожае, о налогах, о войнах на юге, о том, что король слишком много требует, не давая ничего взамен. Эрик не слушал разговоры. Слушал ветер. Заказал ещё эля. Хмель не брал, но помогал забыть. Забыть имена, лица. Забыть очередной пустой день.

В углу зала, где тени сгущались особенно густо, сидела женщина. Эрик заметил её не сразу. Она сливалась с темнотой, будто была её частью. Закутана в лохмотья, серые, грязные, будто сшитые из пыли и паутины. Лица не видно из-под глубокого капюшона. Перед ней не было ни кружки, ни еды. Просто сидела. Неподвижно.

Эрик нахмурился. Чутьё, отточенное сотнями смертей, вдруг взвыло внутри. Не страх, не угроза. Неприязнь. Глубокая, животная, какая бывает у волка при виде змеи.

Но старуха не подняла головы. Сидела словно статуя, оставленная в храме забытого бога. Эрик отвёл взгляд. Не искал проблем сегодня. Был контракт. Был план.

Прикончив очередную кружку, оперся локтем о стойку и снова посмотрел в зал. Делал это неосознанно, всякий раз проверяя, не теряет ли контроль. Старуха всё ещё сидела там. Но теперь смотрела на него. Из-под капюшона блеснул глаз. Не старый, мутный глаз нищенки. А ясный, светлый, как обрыв перед морем. Он физически ощутил давление на кожу, будто она смотрела не глазами, а чем-то иным. Чем-то, что видело не внешность, а то, что внутри. Шрамы. Пустоту. Бессмертие.

Эрик сжал кружку. Дерево хрустнуло. Наёмник почувствовал, как по спине пробежал холод. Не тот холод дождя, что игнорировал. Это был холод сырой земли. Ощутил его на собственной шкуре, потому что был погребён заживо. И после возвращения к жизни был вынужден самостоятельно откапываться. Воспоминания пробудили злобу. Он потерял своё хвалёное терпение.

— Ты чего смотришь? — спросил он вслух. Голос прозвучал хрипло.

Женщина не ответила. Не пошевелилась. В этот миг огонь в камине вспыхнул синим пламенем. Эрик моргнул. Когда вновь открыл глаза, женщина сидела так же неподвижно. Но теперь перед ней стояла кружка. Полная. Пар от неё шёл странный, фиолетовый.

Эрик встал и двинулся к ней. Рука сама потянулась к мечу. Женщина медленно подняла руку. Указала на него. Тонкий палец в перстне с чёрным камнем.

Наёмник замер. Не от страха. От невозможности пошевелиться. Будто воздух вокруг застыл, превратился в камень. Не дышал, хотя грудь ходила ходуном. Ноги не слушались.

Женщина опустила руку. Давление исчезло. Эрик сделал вдох. Резкий, судорожный. Посмотрел на угол снова. Там никого не было. Только пустая скамья. И тень, казавшаяся длиннее, чем должна была быть.

— Эй, — Эрик повернулся к трактирщику. — Кто эта старуха?

Трактирщик остановился, протирая кружку. Выглядел растерянным.

— Какая старуха, господин?

— Та. В углу. В лохмотьях.

Трактирщик оглядел зал.

— Здесь только мы, господин. Местные да вы. Никого больше не было.

Эрик медленно перевёл взгляд на угол. Пусто. Подошёл к скамье, потрогал дерево. Холодное. Слишком холодное для места, где только что сидел человек. На доске осталось пятно. Влажное. Тёмное. Эрик понюхал. Пахло грозовой свежестью и сухой полынью. Выпрямился. Сердце билось ровно. Тело было доспехом, что отказывался ломаться, но впервые за долгие годы на нём появилась трещина.

Наёмник вернулся к стойке, допил эль. Положил меч рядом.

— Ещё одну, — сказал трактирщику.

— Может, хватит, господин? Ночь глубокая.

— Ещё одну, — повторил Эрик.

Он смотрел на пустой угол. Тень шевельнулась. Эрик не моргнул.

— Я не боюсь, — сказал он в пустоту.

Тень не ответила.

Смерть пришла за ним и вновь не чтобы забрать. Вероятно, чтобы предложить сделку. Но так же внезапно, как появилась, исчезла.

Передумала? Должно быть, старухе нравилось наблюдать его мучения. Играла с ним в глупую игру, в которой Эрик никак не мог проиграть. Или он то и дело проигрывал, и только Смерть оставалась в выигрыше. Но какой прок ей с его жалкого существования? Вечность — слишком долгий срок для того, кто хочет просто уснуть.

Тишина после её ухода была тяжелее любого удара молота. Она не просто ушла — испарилась, словно подтверждая: для неё он был лишь временным неудобством, пятном на подоле мантии, что можно стряхнуть не глядя.

Руки Эрика задрожали, он убрал их со стойки на колени. Дрожали не от страха. От накопленного за столетия напряжения, вдруг потерявшего точку равновесия. Он привык, что смерть игнорирует его. Привык, что клинки ломаются о кожу, а яд действует как вино. Но не привык, что «смерть» может смотреть на него глазами живой женщины и видеть пустоту.

Мысль, тяжёлая и ржавая, как старый гвоздь, впиалась в сознание: *«Если жить так долго, можно потерять не только смысл и вкус к жизни, но и рассудок.»*

Эрик повторял эти слова про себя, как молитву, как приговор. Раньше думал: проблема в нём. Что он сломан. Теперь понял иное — проблема не в том, что не может умереть. Проблема в том, что она — та, что держит ключи, — считает его недостойным даже того, чтобы быть убитым лично.

Она обошлась с ним как с инструментом. Как с мешком костей, что можно использовать, а потом отшвырнуть в угол. Эрик медленно сжал пальцы в кулаки. Костяшки хрустнули. Звук оказался громким даже среди разговоров в таверне.

Если она воплощение смерти если та, что решает, кому жить, а кому гнить то её безразличие оскорбляет каждую его рану. Каждую ночь в грязи. Каждый вдох, что был вынужден сделать, когда лёгкие наполнялись кровью.

Так не пойдёт. Если смерть не приходит сама, он заставит её обернуться. Если эта наг-лая старуха — воплощение того конца, что он так жаждет, — он будет достаточно настойчив. Эрик пойдёт за ней по пятам. Будет оставлять следы, что нельзя смыть. Будет кровоточить у её порога, пока не выйдет, чтобы заткнуть ему рот. Не милостью. Клинком.

Хочешь играть в молчание? Хорошо. Я заставлю тебя увидеть меня. Обратит внимание. Стану самым громким звуком в твоей тишине. Самой большой ошибкой в твоих планах.

Святой с пустыми карманами

*Пятый осколок упал в руки добряка,
Который хотел творить благо.
«Я помогу», — сказал он,
Но его помощь стала проклятием,
Ибо добро его ломает то, что чинит.
Его дар — лечит раны, нанося новые.*

Рынок в Остпорте дышал мокрой шерстью, протухшей рыбой и угольной гарью. Адам любил этот смрад. Он пах жизнью. Настоящей, грубой, не прикрытой лавандовой водой и дворцовыми благовониями. Здесь люди работали руками, потели, ругались и считали медяки. Здесь не было лжи, ибо ложь не накормит детей и не оплатит дрова на зиму. По крайней мере, Адам так думал до сегодняшнего утра.

Воздух висел тяжёлым, пропитанным влагой, что никак не решалась пролиться. Торговцы выкрикивали цены, перекупщики толкались локтями, где-то хрипло лаяла собака, увязшая в грязи по брюхо. Адам стоял у телеги старой Марты, торговавшей сушёными яблоками и дублёной кожей. Колесо соскочило с оси, корзина с товаром угрожающе накренилась. Марта плакала, утирая глаза подолом. Маленькая, сгорбленная, словно зимняя яблоня после ледяного дождя, она казалась хрупкой, как сухая ветвь.

— Не плачьте, матушка, — сказал Адам, снимая перчатки. Руки его были большими, узловатыми, покрытыми шрамами от молота и веревок, но движения оставались осторожными. — Сейчас поправим.

— Куда тебе, добрый человек, — всхлинула она. — Железо ржавое, ось гнилая. Всё пропало. Хозяин угла шкуру спустит, если не доторгую до вечерни.

— Я помогу.

Адам не спрашивал разрешения. Не умел проходить мимо чужой беды. Подставил плечо под край телеги. Дерево скрипнуло, жалобно и протяжно. Мышцы напряглись. Тяжесть давила на ключицы, вдавливала сапоги в грязь, но он не отпускал. Это было легко. Слишком легко. Будто мир сам поддавался ему, чтобы потом отыгаться.

Он выровнял ось. Марта перестала плакать, глядя на него с той хрупкой, жадной надеждой, что Адам ценит выше золота.

— Спасибо, сынок. Да хранят тебя старые боги.

— Боги хранят тех, кто трудится, — улыбнулся он. Взял корзину с яблоками, чтобы переставить на устойчивый борт.

И тут случилось то, что случалось всегда.

Под ногой лопнул ремень. Не тот, что он подтянул, а другой — целый, крепкий, будто дождавшийся своего часа. Телега качнулась. Корзина выскользнула, словно намазанная салом. Десять фунтов сушёных яблок рассыпались по грязи. Мокрой, серой, липкой, в которую тут же въехали колёса проезжавшей повозки.

Хруст. Хруст. Хруст.

Яблоки превратились в кашу за миг. Коричневую, вонючую, смешанную с навозом и дождевой водой.

Марта замерла. Лицо, только что смягчённое благодарностью, исказилось. Глаза расширились, зрачки сжались в точки. Она смотрела не на яблоки. На Адама.

— Ты — голос дрогнул, сорвался на хрип. — Ты всё испортил.

— Я не хотел, — Адам присел, пытаясь собрать хоть что-то целое. Пальцы слушались плохо, соскальзывали. Раздавил ещё два, просто пытаясь поднять. — Ось держится. Товар можно отмыть, высушить

— Какой товар?! — закричала она. Вокруг начали оборачиваться. Торговцы, покупатели, зеваки. Круг смыкался, плотный, любопытный, беспощадный. — Это был последний запас! Хозяин угла ждёт сегодня! А ты ты всё раздавил!

— Я заплачу, — Адам полез за кошельком. — У меня есть немного.

Марта отшатнулась, будто он протянул дохлую крысу.

— Твои деньги? Твои грязные деньги? — Плюнула ему под ноги. Слюна шлёпнулась на сапог, рядом с раздавленным яблоком. — Я знала. Чувствовала, когда ты подошёл. От тебя несёт бедой. Как от могильной земли.

Адам выпрямился. В груди похолодело. Не от ветра. От слов. От знакомой, липкой тяжести, оседавшей на плечах каждый раз, когда мир напоминал ему его место.

— Я только помог с телегой.

— Помог? — Она вцепилась в рукав, сухие пальцы, как когти старой вороны. — Ты всё сломал! Почему лезешь, куда не просят? Почему не проходишь мимо, как нормальные люди?

— Потому что вы плакали, — тихо ответил Адам.

— Потому что ты нечистый! — завопила она, и в голосе зазвучала первобытная, искренняя ненависть. Адам невольно отступил. — От дурного корня! Слышала о таких. Ходите, строите из себя праведников, а на деле удачу отнимаете! Проваливай! Моли грехи, пока не сгнил! Не смей касаться моего добра!

Она швыряла оставшиеся яблоки. Твёрдые, сухие комки бились о грудь, о лицо, отскакивали в грязь. Адам не защищался. Стоял, позволяя выместить злость. Знал: если уйдёт сейчас, она почувствует себя обиженной дважды. Нужно было принять удар. Впитать. Стать молчаливым виновником, чтобы мир снова обрёл равновесие.

Когда корзина опустела, Марта отвернулась и судорожно сгребала грязь руками, будто пытаясь спасти невозможное. Плакала снова, но теперь тихо, зло, безнадежно. Как загнанный в угол зверь.

Адам поднял перчатки, испачканные яблочной жижей. Медленно надел, чувствуя, как липкая холодная масса проникает сквозь ткань к коже, оставляя сладковато-гнилостный запах.

— Простите, — сказал он.

Она не ответила.

Он отошёл. Спиной чувствовал взгляды. Не сочувственные. Осуждающие, насмешливые, брезгливые. Люди видели не ситуацию. Видели результат. Добряк пришёл — товар пропал. Значит, добряк виноват. А если верить крикам старухи, то не такой уж и добряк. Может, сглазил. Может, порчу навёл. В Остпорте не любили тех, кто ломал привычный уклад.

Адам шёл по улице, вытирая руки о плащ. Пятно не отстирывалось. Казалось, въелось в самую материю, будто выжжено раскалённым железом.

Почему? — вопрос бился в голове, как муха о стекло. *Почему всегда так?*

Вспомнил прошлый год. Деревня у реки. Помогал строить дамбу во время разлива. Таскал мешки, не спал трое суток, руки в кровь. Когда вода спала, оказалось: именно та часть дамбы, что укреплял он, дала трещину. Смыло три дома. Хозяйка одного кричала вслед, что он нарочно подложил гнилой дёрн.

«Слишком старался. Будто знал, где прорвёт». Последнее, что запомнил перед бегством. Камни летели в спину быстрее слов.

Вспомнил девушку в таверне полгода назад. Забыла кошель. Он оплатил ужин. На выходе ждал бывший любовник, громила со шрамом, решивший, что она изменила. Драка в грязи. Нож. Адам выжил. Девушка осталась с клеймом, ибо слухи бежали быстрее правды. А правда обычно слишком скучна для кабака.

Адам не считал себя святым. Просто хотел быть полезным. Разве это грех? Разве мир не должен становиться лучше, если каждый протянет руку?

Но его рука будто была проклята. Всё, к чему прикасался с добрым намерением, оборачивалось пеплом. Или кашей. Или сломанными судьбами.

Свернул в переулок, подальше от рынка. Здесь было тише. Тени ложились гуще, пахло сырой штукатуркой и крысиным помётом. Присел на каменный выступ, вытянул затёкшие ноги. Нужно было пересчитать деньги. После предложения Марте кошелек стал заметно легче. Достал кожаный мешочек. Развязал. Вытряхнул на ладонь. Пусто.

Моргнул, будто стараясь стряхнуть дурное видение. Пустота не исчезла. Помнил точно: пять серебряных монет. Не тратил сегодня. Не ронял. Вывернул мешочек наизнанку. Выпала лишь одна медная полушка, тусклая, с погрызенным краем.

— Вот же — прошептал он.

Ощупал карманы. Пояс. Под плащом. Ничего.

Вспомнил, как Марта хватала за рукав. Пальцы цепкие. Но украсть так быстро и тихо не смогла бы. Значит, кто-то другой. Пока все пялились на кричащую старуху и парня, принимавшего удары яблоками как истукан, чьи-то ловкие пальцы сработали в кармане. Никто не заметил. Толпа любит зрелище, а не ловить воров.

Сжал пустой мешочек. Кожа врезалась в ладонь. Не жалко денег. Обидно. До горла, до слёз, что не позволял себе пустить уже много лет. Отдал последнее, чтобы загладить вину, которой не совершал, и остался нищим. С грязными руками, проклятым именем и пустым карманом.

— Я ведь хотел как лучше, — проговорил вслух. Голос прозвучал глухо в пустоте переулка. Слова повисли и растворились, не найдя отклика.

Ветер подул сильнее, загоняя холод за воротник, швыряя в лицо мелкую морось. Адам встал, хрустя коленями. Нужна работа. Иначе ночью замёрзнет. А если замёрзнет — умрёт. А если умрёт — кто-то другой поможет старухе с телегой. И, возможно, у него всё получится.

Поправил плащ, стряхнул яблочную жижу и шагнул на улицу. Впереди лежал город. Шумный, грязной, равнодушный. А шёл он навстречу ему не с надеждой, а с привычкой. Как идут домой, когда дома давно нет.

Адам родился в день, когда чума взяла город. Мать умерла в родах, он выжил. Повитуха вытерла руки о подол, перекрестилась: «Так заведено. Одного заберут — другого оставят».

С тех пор так и шло. Где Адам протягивал руку помощи — там кто-то падал. Не желал зла, но мир требовал равновесия.

В восемь лет спас щенка от соседа-пьяницы. Той же ночью младший брат не проснулся от жара. Ему тогда сказали: не вини себя.

Адам не винил. Понял: спасение не бывает бесплатным.

Начал помогать всем. Без разбора. Старикам, детям, вора, убийцам, жертвам. Если кто-то кричал — шёл. Если молчал в страдании — находил. Если заслуживал кары — давал прощение. И с каждым разом становилось хуже.

Однажды встретил женщину, что хотела умереть. Пришла с ножом. В глазах — облегчение, будто всё уже решено.

— Я убила троих, — сказала. — Дети умерли с голоду, а я забрала у чужих. Не могу жить.

Адам забрал нож. Обнял. Посадил у костра. Говорил. Слушал.

Утром она ушла в город и устроила резню в храме. Десять тел. Десять, которых мог спасти, если просто дал ей умереть.

Его руки лечили. Слова утешали. Шаги вели к тем, кто в беде. А на следующее утро — ещё одно тело. Ещё одна сломанная судьба. Ещё одно добро, ставшее злом.

Иногда мечтал: вот бы раз пройти мимо. Услышать крик — и не откликнуться. Увидеть кровь — и не тянуться за бинтами. Мечтал, но не мог воплотить.

Дождь начался внезапно, как удар кнута. Минуту назад небо было серым, тяжёлым, словно свинцовая крыша. Теперь хлынуло. Холодные, колючие капли барабанили по мосто-

вой, мгновенно превращая пыль в липкую жижу. Адам прижал к груди пустой кошель, но это не спасло. Вода просачивалась под воротник, холодила спину, стекала по щекам, забивалась в уши. Он знал этот запах: прелая листва, сырая земля, мокрая шерсть. Просто осень. Гнилая, затяжная, как хворь, что не лечат, а пересаживают.

Его учили: дождь — не кара небес, а лишь влага, что скопилась в тучах. Ветер гонит холод с севера, тёплый воздух с юга — сталкиваются, вот и льёт. Но в Остпорте о столкновении воздушных масс не ведали. Здесь верили в приметы. Он свернул с площади, ища навес, но переулки тонули. Стены сочились, вывески скрипели, ветер гонял по мостовой обрывки указов и мокрые листья.

У западных ворот, где тракт уходил в туман, стояла телега. Пожилой торговец в промокшем до нитки плаще лихорадочно увязывал последний тюк с сукном, ругаясь вполголоса на непогоду, налоги, короля, на всё на свете. Лошадь, кляча с обвисшими ушами и запотевшими боками, тяжело переступала по грязи.

Адам подошёл. Не спрашивая, подхватил мешок, что торговец пытался вскинуть на борт. Тот вздрогнул, но не отдернул руку.

— Куда путь держишь, хозяин? — крикнул Адам сквозь шум ливня.

— Домой, в Кроссрудс, — буркнул торговец, закрепляя верёвку. Лицо землистое, глаза бегают. — Остпорт кончился. Дождь и сюда добрался, теперь в столице делать нечего. Лавки закрываются, народ бежит. А ты кто?

— Путник. Могу подсобить в дороге. Охранять груз. Ничего не прошу, только до места.

Торговец прищурился, оглядел. Больные руки, спокойные глаза, плащ, с которого ручьями стекает вода. Не похож на вора. Похож на того, кто привык таскать тяжести и не задавать лишних вопросов.

— Места нет, — начал было, но сплюнул в грязь. — Ладно, запрыгивай. Только без разговоров. Вздумаешь воровать — с моста скину, дождь следы смоем.

Адам кивнул. Забрался в телегу, уселся на сырую парусину между тюками. Торговец щёлкнул кнутом, кляча, кряхтя, потянула их в серую мглу. Дорога быстро превратилась в колею, затянутую жижей. Колёса вязли, лошадь сопела, торговец то и дело соскакивал, подталкивал борта, ругался, залезал снова. Адам сидел молча, чувствуя, как холод пробирает до костей. Иногда спрыгивал, помогал выталкивать колёса, поправлял съехавшие тюки, отводил ветки. Торговец только кивал, не благодарил, но и не гнал.

Когда дождь на миг ослаб, торговец закурил трубку, высек кресало. Дым смешался с паром дыхания.

— Говорят, это не просто дождь, — забормотал он, глядя в серую стену воды. — Жрецы шепчутся. Болота на западе проснулись. Туман ползёт вниз, а вода — сверху. В Кроссрудсе льёт четвёртые сутки. Мосты шатаются. Не остановится — смоем полгорода. Но там мой дом, жена, всё, что осталось.

Адам напрягся. В груди шевельнулось старое, похороненное знание. Помнил трактаты. Помнил, как старший лекарь объяснял: сезонные разливы — дело обычное, почва не успевает впитывать, а не «болота просыпаются». Открыл рот, хотел сказать: «Это просто сезон, вода стечёт, когда ветер переменится. Не нужно молиться небу, нужно чистить стоки и укреплять насыпи». Но язык прилип к небу. Давно отучил себя объяснять. В монастырях верили в слова и молитвы. В мире за стенами слова превращались в сплетни, сплетни — в камни, в поборы, в страх, что продают на вес серебра.

Промолчал. Кивнул, глядя на грязь под колёсами. Руки помнили вес ступки, холод скальпеля, точный ритм пульса. Но теперь он просто путник.

— Говорят, это не просто дождь, — повторил торговец, понизив голос. — Жрецы шепчутся, что Святая Изольда отвернулась. Чем-то прогневились

Адам стиснул челюсти. Знал цену этим шепоткам. Знал, как легко превратить страх в налоги, а налоги — в новые жертвы. Учили отличать горячку от отравления, знать, когда нужен отвар, а когда нож. Но теперь он просто молчал. Молчание не убивало. Или, по крайней мере, так хотелось верить.

Кроссрудс встретил их не огнями окон, а серой, размытой стеной. Улицы превратились в ручьи. Фундаменты сочились, заборы покосились, на вывесках краска потекла, как слёзы. Воздух стоял спёртый, пахнувший мокрой землёй, гнилым деревом и чем-то острым, металлическим. Люди прятались за ставнями, собаки жались под крылечками. Никто не работал. Город замер, ожидая, когда вода поднимется ещё на пядь.

Телега въехала на площадь, где грязь достигала ступиц. Кляча остановилась, дрожа.

— Доехали, — сказал торговец, сбрасывая верёвки. Голос глухой, усталый. — Спасибо. Держи. — Протянул половинку хлеба и кусок сала в пергаменте. — Всё, что могу. Дальше сам.

Адам взял хлеб, кивнул. Спустился, ноги увязли по лодыжку. Стоял под ливнем, уже не чувствуя холода, и смотрел на улицу. Всё тонуло. В конце площади, сквозь пелену, проступила вывеска. Чёрный силуэт волка на выщербленной доске. Глаза зверя защиты грубыми нитками. Таверна «Слепой Волк».

Поправил мокрый плащ, сжал хлеб и пошёл на свет. Нужно было переждать непогоду. Хотя бы на время. Хотя бы пока не поймёт, что дождь здесь не кончится никогда.

Он сразу понял: таверна, где вопросы не задают, если не хотят получить нож в ребро. Адам вошёл, стряхивая воду. Внутри тепло, дымно, шумно. Пахло жареным мясом и прокисшим элем.

Подошёл к стойке. Трактирщик посмотрел сверху вниз. Лицо изборождено морщинами, словно старое паханое поле. В глазах читалась такая усталость, что Адаму захотелось подменить его, дать отдохнуть, хотя бы на час.

— Деньги вперёд.

— Нет денег, — честно выпалил Адам. — Могу поработать. На кухне, бочки вынести, стол починить

Трактирщик усмехнулся.

— Опять ты? Адам, да? Говорят, ты везде помогаешь. И везде что-то ломается. На прошлой неделе пекарю помог — печь рухнула. Позапрошлой кузнецу — молот раскололся.

Адам опустил голову. Слухи бежали быстрее чумных крыс.

— Совпадения.

— Может быть, — трактирщик налил кружку эля, но не протянул. — Мне не нужны совпадения. Мне нужны посетители. А они боятся тех, от кого несёт неудачей.

— Можно поесть? — с надеждой спросил Адам. — Завтра отработаю.

Трактирщик помолчал. В глазах не было злобы. Жалость. Или страх.

— Садись в угол. Не мешай. И не помогай никому. Слышишь? Никому. Сиди тихо.

Адам кивнул. Взял кружку, отошёл к дальнему столу. Сел спиной к стене, чтобы видеть всех. Давняя привычка. Когда знаешь, что мир может ударить в любой миг, учишься следить за теми, от кого может прилететь.

Сделал глоток. Эль горький, тёплый. Первое приятное ощущение за день. За соседним столом сидели двое. Путешественники. По одежде — наёмники. По разговорам — искатели приключений.

— слышал, в Мёртвых Топях башня стоит, — говорил низкорослый, с повязкой на глазу. — Никто не знает, кто живёт. Но ходят туда.

— И возвращаются? — спросил второй, чистя нож.

— Некоторые. Те, кому нечего терять. Говорят, там ведьма.

Адам напрягся. Не хотел слушать. Трактирщик сказал «не мешай». Но голос сам тянулся к ушам.

— Ведьма? — переспросил про себя.

— не простая, — продолжил наёмник, понизив голос, но недостаточно тихо. — Говорят, снимает судьбу. Как клещом вытягивает.

— Брехня, — фыркнул второй. — Судьбу не снимешь.

— А проклятия? — наёмник подмигнул. — Проклятия можно. За цену.

Адам поставил кружку. Рука дрогнула, эль плеснул на стол. Быстро вытер ладонью.

«Проклятия». Слово повисло, тяжёлое и липкое. Адам не верил в ведьм. Верил в труд, в честность, в закон. Но закон не работал для него. Честность приносила убытки. Труд — разрушения.

Если это не закон мира значит, узел. Кто-то завязал. И его надо развязать. Или разрезать.

— Ты куда смотришь? — голос трактирщика вырвал из раздумий. Мужчина стоял рядом, вытирая тряпкой стойку.

— Они говорят о ведьме, — проболтался Адам.

Трактирщик помрачнел.

— Забудь. Мёртвые Топи — это смерть. Там болота, что дышат. Туман, что сводит с ума.

— А если там правда есть кто-то, кто объяснит, что со мной и почему происходит то что происходит? — спросил Адам.

Трактирщик посмотрел в глаза. Долго. Вздыхнул.

— Парень, ты хороший человек. Вижу. Помогаешь старухам, таскаешь грузы, делишься последним. Но мир не любит хороших. Он их жуёт.

— Знаю, — согласился Адам.

— Если пойдёшь туда, — трактирщик кивнул в сторону окна, за которым темнота и запад, — не вернёшься. Или вернёшься чем-то иным.

— Я уже не тот, что пришёл утром, — тихо пробурчал Адам.

Сидел в тени, прижатый к стене, как приговорённый. Тихо, как велел трактирщик, словно пригвождённый невидимым приказом, сильнее собственной воли. Эль кончился. Карманы пусты, шелестя лишь одиночеством. Желудок ныл, но не это жгло изнутри. Под пеплом смирения тлело нечто новое. Не надежда. Надежда для тех, кто верит в завтра. Адам верил в необходимость. Холодную, неумолимую, как единственное спасение.

Если доброта — яд, значит, нужно противоядие. Если помощь — проклятье, значит, его надо выжечь. Слова Марты звучали в ушах чаще шума таверны: «От дурного корня». Пусть так. Но сорняк можно выкорчевать. Или сжечь. Пусть останется выжженная земля, она честнее плодородного яда.

Взгляд скользнул к окну, за которым продолжался ливень. Мёртвые Топи. Там, где кончаются карты и начинается чужая воля. Не боялся смерти. Боялся завтрашнего утра. Боялся снова протянуть руку и снова услышать хруст.

Сжимал в кармане пустой мешочек. Думал о ведьме, чтобы стать простым человеком. Обычным смертным, не способным разрушать прикосновением.

Впереди чернело небо. Где-то за горизонтом мыслей стояла башня. Адам чувствовал: она ждёт. Не как героя, чьи подвиги сложат в баллады. Скорее как жертву, что пришла сама, осознав участь. Но не знал наверняка. Думал, что может сходить за ответом, за лекарством, за концом хвори.

И эта вера, что ищет исцеления, а не гибели, была самым добрым, что мог сделать для себя в эту холодную ночь, сидя в углу грязной таверны, пока огонь в камине догорал.

Допил эль. Горькая жидкость обожгла горло, но не согрела. Внутри горело иное пламя — тихое, упрямое, как тлеющий уголь под пеплом. Сидел в углу, где тени сгущались, и слушал. Не разговоры пьяниц, не звон кружек, а вой ветра за стенами.

На улице бушевал ливень. Вода барабанила по крыше, словно небо хотело пробить дыру в мире. Ветер выл в трубе, заглушая скрипку бродячего музыканта. Любой здравомыслящий

остался бы у огня, заказал ещё эля, отложил решение до утра. До лучшей погоды. До лучших времён.

Но Адам знал: лучших времён не будет. Погода не изменится. Если не выйдет сейчас, под этот ливень, под этот гром, то не выйдет никогда. Страх перед дорогой был меньше страха перед собой. Перед тем, что завтра снова не пройдёт мимо беды, снова попытается помочь и снова всё сломает.

«Если не сейчас, то никогда», — стучало в висках в ритме дождя.

Резко поднялся. Дерево скрипнуло, протестуя. Несколько голов повернулись, но Адам уже не смотрел. Смотрел на дверь. Тяжёлая дубовая доска, отделяющая уют от стихии. Шаг. Второй. Решимость окрепла, стала твёрдой, как камень в сапоге.

Был уже у порога, когда взгляд скользнул по полу. Между щелями прогнивших половиц, у сапога, что-то блеснуло. Тускло. Невзрачно. Адам остановился. Краем глаза уловил знакомый контур. Заячья лапка.

Старый, потрёпанный талисман на кожаном шнурке. Кто-то обронил. Потерял удачу прямо здесь, в грязи. Владелец наверняка уже шарит по карманам в панике, клянёт себя. Для кого-то безделушка. Для кого-то — последняя надежда. Обещание трактирщику «не помогать» ещё звучало, но привычка была сильнее клятвы. Чутьё, вьёвшееся в кровь глубже любого проклятия.

Кто-то обронил. Потерял. Расстроился.

Адам не думал. Тело действовало само. Наклонился. Пальцы коснулись меха — жёсткого, холодного, влажного. Когда талисман оказался в руке, за окном громыхнул гром, и на миг показалось, что лапка дёрнулась, словно живая.

Выпрямился. В этот же миг мимо проходил громила. Местный, известный тем, что мог выпить бочку за присест и не пошатнуться. Нёс поднос с тремя кружками эля. Адам, сосредоточенный на пушистом предмете, поднялся слишком резко. Плечо ударилось о бок великана.

Громила оступился. Ноги подкосились, будто срезанные невидимой косой. Грохнулся на пол с шумом опрокинутого подноса. Кружки разлетелись. Эль хлынул на опилки, смешиваясь с грязью. Пена зашипела, как разгневанная змея.

В таверне повисла тишина. Даже музыканты смолкли. Громила лежал на спине, моргая. Затем лицо налилось кровью. Медленно поднялся, вытирая липкую жидкость.

— Ты — голос низкий, как скрежет камня.

Адам замер, сжимая лапку.

— Простите, не хотел Просто увидел

— Он тебя толкнул, Борг! — крикнул кто-то из друзей.

— Я сам вижу! — заревел Борг, сжимая кулаки размером с кирпич.

Адам инстинктивно поднял руки, пытаясь успокоить.

— Помогу убрать. Заплачу за эль

Из-за стола у камина раздался голос. Сухой, насмешливый, звучавший так, будто владелец уже скучал от собственной жизни.

— Такой здоровый, а на ногах еле держишься.

Сидел, закинув ноги на стол, ковырял в зубах ножом. Потёртая кожаная броня, на столе меч, что явно не собирался оставлять в ножнах надолго.

— Иди домой, дружище, — продолжил парень, вынув нож. Улыбнулся без веселья. — Покуда не разнёс своей тушей трактир. А то потом придётся тебе самому строить. А ты, судя по виду, даже табурет починить не можешь, чтобы ничего не сломалось.

Борг перевёл взгляд с Адама на парня у камина. Ярость переключилась, как ветер меняет направление.

— Ты чего сказал, щенок?

Смельчак встал. Движение плавное, слишком плавное для пьяного вечера.

— То, что слышал. Или у тебя в ушах эль шумит?

Этого хватило. Борг с рёвом бросился. Но друзья решили, что обидчик — всё ещё Адам, стоявший ближе.

Хаос накрыл зал волной.

Кто-то швырнул стул. Кто-то выхватил нож. Трактирщик закричал, прячась под стойку. Смелчак встретил удар Борга предплечьем, хрустнула кость — возможно, его, возможно, Борга — и вонзил нож в плечо нападавшего. Кровь брызнула на стену, горячая и тёмная.

Адам оказался в эпицентре. Пытался разнять.

— Перестаньте! Не надо!

Его толкнули. Полетел назад, в стол. Стол должен был сломаться. Ножи лишь скрипнули, Адам отскочил, как мяч. На него замахнулись кружкой. Увернулся, хотя не планировал. Кружка разбилась о стену позади. Кто-то занёс стул, Адам присел, чтобы поднять нож, удар прошёл над головой, задев воздух.

Странно. Обычно беда прилипала. Падало дерево — на него. Ломалась крыша — на голову. Сейчас, в центре насилия, мир будто обходил стороной. Клинки судьбы летели мимо.

Смелчак дрался как демон. Не защищался. Подставлялся под удары, чтобы нанести свои. Смеялся, когда рассекли бровь. Кровь заливала глаз, но он улыбался шире.

— Давай! — кричал кому-то. — Сильнее! Убей меня наконец!

Но никто не слушал. Все слишком заняты выживанием. Воздух стал густым, как похлёбка, пропитанный потом, элем и медной кровью. Адам пытался разнять, руки металась между ударами, но проклятие работало безотказно. Каждый раз, когда хватал чью-то руку, суставы противника хрустели сильнее. Каждый раз, когда вставал между бойцами, локоть непреднамеренно встречал чью-то челюсть.

Адама толкнули снова. Сильно. Тяжёлая ладонь ударила в грудь, точно под дых. Потерял равновесие. Ноги запутались в плащах, полетел к двери, распахнувшейся от сквозняка. Время замедлилось. Видел, как приближается земля. Грязь, смешанная с водой. Своё отражение в луже — искажённое, грязное, несчастное.

Из таверны доносился ад. Лязг стали, крики, звон стекла. Огонь из камина вырывался через дверь, освещая клубы пара и стены дождя. Вспышки выхватывали силуэты дерущихся, превращая в демонов, пляшущих в аду.

— Эй, старуха, забери меня! — донёсся хриплый крик, прежде чем Адам вывалился на улицу, прямо в лужу.

Холодная вода мгновенно промочила одежду, ледяным комом сжав желудок. Закашлялся, выплёвывая грязь. Над ним нависло чёрное небо, безжалостно поливающее дождём.

Лежа в грязи, едва расслышал выкрики за спиной. Показалось, кто-то позвал его. Или другого. Звук искажён ветром и шумом. Попытался подняться, ладони скользили. Вдруг чьи-то крепкие руки подхватили под локти, помогая встать. Хватка железная, но не причиняла боли. Дождь заливал глаза, не мог разглядеть, кто рядом. Незнакомец в широкой мантии, скрывающей фигуру и лицо. Ткань странная — не намокала, капли скатывались, как с крыльев птицы.

— Тот, кто ищет, тот всегда найдёт, — бормотал незнакомец. Голос странный — без тембра, нельзя понять, мужчина или женщина. Звук казался исходящим отовсюду, словно ветер говорил человеческими словами.

Адам моргнул, пытаясь сфокусировать.

— Кто вы? — прохрипел. — Мне нужно уйти отсюда.

— Путь открыт, — ответил незнакомец.

Адама буквально подтолкнули к чему-то тёмному и тёплому, возникшему из дождя словно призрак. Лошадь. Сам не понял, откуда взялась. Только что никого не было, только тени и дождь, а теперь рядом стоял конь, тихо фыркая.

— Садись, — приказал голос.

Адам повиновался. Странно — не помнил, как ставил ногу в стремя, как оказался в седле. Будто тело двигалось само, повинувшись чужой воле. Почувствовал живое тепло, биение мышц, запах мокрой шерсти.

— Доброму путнику — путь открыт, — едва незнакомец опустил поводья, кобыла перешла на галоп.

Не нуждалась в понукании. Не нуждалась в направлении. Знала, куда следует. Адам едва удержался, хватаясь за гриву. Ветер бил в лицо, сбивая дыхание.

— Стой! — крикнул. — Я не знаю дороги!

Лошадь не послушала. Стремительно мчала прочь от таверны.

Не знал этой лошади. Не помнил, чтобы видел раньше. Но в пути, когда глаза привыкли к темноте, а ритм галопа убаюкал боль, заметил деталь. Подкова на передней ноге стучала иначе. Ритм сбитый.

— Ты хромая, — прошептал Адам, наклоняясь к шее.

Кобыла не ответила, но ухо дрогнуло, словно услышала. Выпрямился в седле, нащупал в кармане талисман, сжал. Оттягивала ткань, тяжёлая, словно свинцовая. Удача. Чужая удача.

Ирония была горькой, как эль на столе. Человек, чья помощь приносила лишь беду, поднял чужую удачу с грязного пола.

— Чужая удача лучше, чем своя беда, — прошептал в шум ливня.

Дождь стал слабее. Впереди, сквозь пелену ночи, проступали очертания дороги, которой не было на картах. Лошадь знала путь. Значит, тот, кто послал её, тоже знал. Внутри закипала не злость, а решимость.

Если удача работает только так если добро приносит боль, а хаос оставляет целым значит, ищет не там.

Кобыла ускорила бег, хромая нога отбивала ритм, похожий на стук сердца.

Тук. Тук. Тук.

Человек без голоса

*Третий осколок упал в уши мудреца,
Который услышал все тайны мира.
«Я слышу ложь», — сказал он,
Но свой голос потерял в хоре чужих мыслей,
И теперь не знает, где правда, а где эхо.
Его дар — слышать шум, но не тишину.*

Зал совета хранил тишину. Не мирную, а тугую, словно тетива, готовая сорвать стрелу. Слишком тихо для места, где решались судьбы тысяч жизней. Лиам сидел на жёстком дубовом стуле, пальцы впились в подлокотники так, что суставы побелели. Перед ним лежала карта королевства, скреплённая по углам свинцовыми грузилами. Он смотрел на границы, но видел не чернильные линии. Он слышал их. Они скреблись внутри черепа, будто когти по кости.

Король Аларик сидел во главе. Золотой обруч короны впивался в виски, оставляя красные следы на побледневшей коже. Пальцы отбивали по столу неровный, сбивчивый ритм.

Тук. Тук ТукТук Тук

Думал он не о ритме. Король задавался вопросами. Кому доверять? Кого бояться? Брандона? Шеймуса? Рована? Лиама? Все лгут. Все хотят мой трон. Особенно тот, кто слышит то, чего не должно быть слышно. Тот, кто знает слишком много для простого советника.

Лиам сглотнул. Ком в горле был плотным, как свинцовый груз.

— Мы должны ударить первыми, — заговорил генерал-маршал Брендон Железный Кулак. Голос низкий, рубящий, как топор о пень. На лице шрам, пересекающий бровь, на пальцах кольца с печатями пограничных твердынь. — Пока стужа не сковала перевалы. Дайте мне десять тысяч, я перегрызу им глотку на Витасе. До весны от их армии останется только корм для воронов.

Мысли в его голове звучали грубее, прямее:

*Если не ударим, казна иссякнет. Если казна пуста, капитаны продадут меня королю.
Нужна война. Нужно железо и хлеб, чтобы жернова мололи, а казна полнела. Честь — слово для тех, кто умеет держать строй под градом стрел.*

— Война разорит казну, генерал, — возразил лорд-канцлер Гайус Торн. Не поднял глаз от пергамента. Тонкие пальцы в чернильных пятнах аккуратно выводили пометки на полях. Лицо сухое, глаза цепкие, циничные. — Армии кормят не лозунги, а зерно и серебро. Коронный указ о северных пошлинах истёк три урожая назад. Мы не шлём людей, мы шлём сборщиков податей. Наказываем их тарифами, грамотами, тяжбами. Меч ломается. Закон переживает королевство.

Его мысли визжали, как крысы в подполье:

Пусть генерал голодает. Пусть хоть кровью истечёт. Пусть король устаёт. Я составляю акт о регентстве, пока они играют в солдатики. Закон — это просто насилие, облачённое в пергамент. И я лучше всех ношу шёлк, не марая совести.

Рядом с ним сидел архиепископ Лютер Святой. Белые волосы, горящие глаза, руки сжаты так, что суставы побелели. Говорил тихо, но каждое слово падало в зал, как камень в колодец.

— Господь не торгуется пошлинами. Он испытывает веру. Северяне жиреют на ереси и молчании. Если мы не выжжем гниль, королевство сгниёт изнутри. Дайте грамоту, Ваше Величество. Пусть очистители выйдут в путь. Спасём их души, даже если придётся сжечь плоть.

В разуме Лютера уже полыхал праведный костёр:

Очистить. Спасти. Даже через боль. Воля Божья не бывает мягкой. Она — огонь.

Король молча сдвинул по столу тубус с сургучной печатью.

— Отчёт баронессы Лертан, — пояснил он. Голос ровный, но в нём слышалась усталость. — Она ещё в Вальдберге. Пишет редко. Но когда пишет — режет.

Лиам почувствовал отсутствие её мыслей. Как пустоту. Серафина не излучала. Она сворачивала себя внутрь, прятала намерения за семью слоями шарфа и улыбки. В письме было три строчки: *«Совет трещит по швам. Герцог стареет, канцлер стервятник, генерал ржавый клинок. Готовят зиму, не войну. Но лёд скрывает трещины. Я наблюдаю».*

Король подумал:

Она видит всё. Собирает для меня лишь то, на что следует обратить внимание. Полезна и опасна, как лезвие.

Лиам сжал виски. В голове кипел котёл. Жажда крови Брандона чесала язык, требуя сжать кулаки. Цинизм Гайуса холодил желудок, заставляя прятать руки в рукава. Фанатизм Лютера жёг виски. Годфри Йеддус ещё ничего не сказал на совете, но казначейская жадность шептала из угла: *«Золото не пахнет кровью. Пусть король умрёт от старости. Главное — сохранить запасы».*

Чьи мысли были его? Он не помнил. Не знал, чего хочет сам. Хочет ли войны? Мира? Чистки? Или просто тишины?

— Советник Вейн? — король поднял голову. Глаза красные от бессонницы. Взгляд тяжёлый, цепкий. — Ты молчишь. Ты знаешь о них больше, чем я. Что они недоговаривают?

В зале вновь повисла тишина. Теперь физическая. Но в головах вспыхнул пожар.

Брандон: знает про мзду капитанам. Убрать после голосования.

Гайус: если вскрыет дефицит, свалю всё на его «советы». Пергамент терпит.

Лютер: Чтец души. Одержим или избран? Бог испытывает тех, кто знает слишком много.

Аларик: слишком меток. Откуда берёт правду? Магия? Шпионаж? Или просто потрошит людей, как птицу?

Лиам открыл рот. Слова застряли в гортани. Какое решение было его?

Если скажет «бить» — повторит Брандона. Если выскажется о мире — озвучит мысли Годфри. Если заговорит о законе — Гайуса. Если поднимет тему веры — Лютера. Если промолчит — король решит, что это заговор.

Он был пустым кувшином, наполненным чужими голосами. Эхо без источника. Человек без собственного голоса.

— Нужно — голос Лиама сорвался. Он откашлялся. — Нужно время.

— Время? — король прищурился. — Враг не ждёт времени, Лиам. Враг точит мечи. А ты точишь языком.

— Я хочу сказать — Лиам запнулся. В голове мелькнула обрывочная мысль Годфри: *«Пусть они ослабнут сами».* Лиам хватался за неё, как утопающий за солому. — Нужно ослабить их, ударить по снабжению. До зимы они съедят свои резервы.

Брандон фыркнул. В его голове прогремело: *«Трус».*

Король медленно кивнул, но мысль была холодной, как лезвие: *«Колблется. Что-то скрывает. Или не умеет думать своей головой?».*

Эта мысль ударила Лиама сильнее пощёчины. Потому что была правдивой. Он не умел думать. У него не было внутреннего стержня. Каждый выбор продиктован чужими желаниями. Он был лучшим советником королевства, потому что знал все секреты. И самым несчастным человеком, потому что не знал собственного имени без титула.

— Совет окончен, — резко огласил король. Встал. Стул скрипнул по камню. — Лиам, останься.

Остальные повиновались, затоптали тяжёлыми сапогами, зашелестели мантиями. Уходя, бросали взгляды. Одни с ненавистью, другие со страхом. В их головах шумело: *«Предатель», «Колдун», «Шпион».*

Дверь закрылась, шёлкнув засовом.

— Ты слышишь меня сейчас, Лиам? — спросил король тихо. Подошёл к окну, за которым серел осенний дождь.

— Да, Ваше Величество.

Король молчал. Но не в голове его металась мысли.

Слышу, как ты думаешь, что я скоро умру. Слышу, как ты думаешь, что я знаю о твоей хвори. Слышу, как ты думаешь, что я могу тебя отравить.

— Иногда мне кажется, — король повернулся. В руке перебирал кинжал. Не угрожающе. Просто металл, привычный, как чётки. Лезвие ловило свет свечи. — Что ты не советуешь мне. А повторяешь то, что я хочу услышать. Или то, чего боятся они. Кто ты, Лиам?

Холодный пот сполз по позвоночнику.

— Я ваш слуга.

— Слуги имеют мнение, — король шагнул ближе. Кинжал вращался в пальцах. — У тебя его нет. Ты как эхо. Скажи мне что-нибудь от себя. Не от генерала. Не от казначея. От себя.

Лиам открыл рот. Закрыл. Внутри была тишина. Пустота. Гулкий колодец, в который упал камень и не достиг дна. Он не знал, что любит. Не знал, чего боится. Боялся только одного — что эта пустота обнаружится.

— Я не знаю, — прошептал он. Первая правда за десять лет службы.

Король смотрел на него долго. Потом убрал кинжал в ножны. Щелчок тихий, но окончательный.

— Уходи, — сказал он устало. — Пока я не решил, что ты опасен. Опаснее, чем вражеская армия.

Лиам поклонился. Попятился к двери. Коридор поглотил его, холодный, каменный, равнодушный.

Лиам впервые услышал чужие мысли в шесть лет. Стоял под морозящим, ледяным дождём у свежей могилы. Земля ещё не осела, впитала слёзы, но уже превратилась в вязкую, липкую жижу, чавкавшую под сапогами скорбящих, словно недовольную, что живые топчут царство мёртвых. Рядом стоял отец. Сгорбился под тяжёлым чёрным плащом. Сжимал в побелевшем кулаке клочок серой ткани, когда-то бывший материнским платком. Священник бормотал над ямой. Слова растекались в воздухе, как вода, теряя смысл и превращаясь в бесвязный гул. И вдруг он был перекрыт иным звуком, не имеющим отношения к физическим вибрациям воздуха. Возник прямо внутри черепа Лиама. С пугающей, голой отчётливостью. От неё перехватило дыхание, по спине пробежал озноб. Он услышал не голос отца, а саму суть его отчаяния, лишённую всякой маски: *«Теперь всё на мне. Но я её не любил. Никогда не любил. Прости меня, Бог. Я просто устал».*

В тот миг мир раскололся на две неравные половины. На видимую оболочку: слова, жесты, ритуальные слёзы, чёрные одежды, каменные лица. И на скрытую, истинную подоплёку: страх, ложь, грязь, расчёт, усталость, зависть, облегчение. Лиам понял: слова — лишь искусно созданные маски, за которыми люди прячут настоящие лица. С того дня он больше не мог верить ни мольбам, ни клятвам, ни громким заявлениям о любви. Он слышал людей изнутри. Знал, что ни один человек не бывает целым. У всех есть трещины в душе, через которые сочится тьма. Только он сам оставался пустым кувшином, в который бесконечно вливалось чужое содержимое. Не оставляя места для собственного.

Он пытался услышать себя годами. Запирался в комнате, закрывал глаза, погружался в полную тишину. Надеялся: если отсечь внешнее, внутри наконец зазвучит его голос, его желание, его мысль. Дни сменялись ночами, ночи рассветами, внутри звенела только пустота. Изредка прорезаемая чужими потоками, просачивавшимися сквозь стены, расстояние и закрытые двери.

Сначала думал: проклятье богов, кара за неведомый грех. Потом надеялся: дар, возможность видеть истину. Со временем понял: наказание, лишаящее права на собственную личность.

В пятнадцать решил узнать, кто он. Начал спрашивать у знакомых, учителей, соседей, пытался собрать себя по кусочкам из их отзывов. Их ответы были ладными, хвалебными, невыносимо неискренними. Слова, выходящие из рта, поддавались строгому контролю. Они шевелили устами, разливая мёд лести. Но головы не нуждались в цензуре и были полны отравы, которую Лиам слышал слишком ясно.

Учительница гладила его по плечу: «Ты умный мальчик, Лиам». В сознании пульсировало: *«Знает про подлоги в отчётах. Если проболтается — сошлют. Надо быть с ним мягче».*

Соседка приносила пироги: «Какой добрый юноша». В голове цокало: *«Не заплакала бы, если умер. Неприятный».*

Самым страшным ударом стал отец. Положил руку на плечо: «Ты мой сын, Лиам, моя кровь». В глубине разума звучала ледяная, ровная истина: *«Не мой мальчик. Настоящий умер вместе с матерью. Этот — кто-то другой. Чужак. Поселился в моём доме, забирает тепло, предназначенное моему ребёнку».*

Эта мысль разрушила последние нити с миром. Лиам почувствовал себя призраком, бродящим среди живых, не имеющим права на имя.

В двадцать исчез. Ушёл в леса. Добрался до безмолвных монастырей в глухих углах страны. Люди там давали обет молчания. Не говорили годами. Лиам надеялся найти себя в этой внешней тишине. Думал: если вокруг не будет слов, внутри прекратится шум. Хоть одно желание будет рождено им, не украденным у прохожего.

Но даже там, среди каменных стен и строгих келий, тишина была заполнена. Монахи не говорили языком. Но мысли их били в лицо, как ветер, гонящий сорванные листья. Они думали громко и навязчиво. Молитвы, сомнения, скрытые грехи, голод, страх перед богом, зависть к чужой вере. Проникали в его сознание без сопротивления, превращали убежище в камеру пыток, где он не мог спрятаться от человеческой природы.

Однажды старик по имени Данкел, чьи мысли были удивительно чистыми и спокойными, как поверхность глубокого озера, протянул ему старое, потускневшее зеркало в деревянной раме.

— Посмотри.

Лиам посмотрел. Увидел лицо, знакомое с детства. Высокий лоб, тёмные глаза, ровный рот.

— Что ты видишь? Кто смотрит на тебя из глубины?

Он хотел ответить. Но не нашёл слов.

— А теперь подумай, — голос Данкела был тихим, но пробивался сквозь мысленный шум. — Это лицо твоё? Или тех, чьи мысли ты носишь?

И тогда пришло открытие. Тяжёлое, леденящее душу. Лиам не знал, существует ли вообще. Или он просто ткань из чужих желаний, страхов, мыслей, голосов. Лабиринт без центра. Эхо без источника. Пустая оболочка, имитирующая жизнь, вбирая окружающий шум.

Осознание стало тяжелее проклятия. Легче жить с демоном, чем с пониманием: тебя нет. Ты лишь отражение чужих жизней, не имеющее собственного света.

Коридор замка дышал. Камень шептал мысли стражников, стоящих у дверей.

«Скучно», «Хочу домой», «Королева красива», «Надо бы подчистить налоги».

Шум нарастал. Голова раскалывалась, будто в неё забивали клин. Лиам прижал ладони к ушам. Бесплезно. Звук шёл не извне. Он шёл изнутри, шумел в самих костях.

Он зашёл в свою комнату, запер дверь на тяжёлую задвижку. Сел на пол, обхватив колени.

Кто он? Если убрать мысли генерала Брандона, что останется? Если убрать страх короля, жадность Годфри, фанатизм Лютера, расчёт Гайуса? Ничего. Пустота. Он был притворщиком. Лжецом. Носил маску мудреца, а внутри был ребёнок, не умеющий говорить.

Приближённые короля точили зубы, потому что чувствовали фальшь. Как чувствуют подделку среди золота. Ждали момента, когда он ошибётся — повторит не ту мысль. Когда король поймёт, что его советник — просто сосуд.

Лиам уткнулся лицом в ладони. Ему нужно было бежать. Не от короля. От себя. Вернее, от отсутствия себя. Если останется — казнят. Или сойдёт с ума от чужих голосов. Растворится, станет фоном.

Советник встал. Ноги дрожали, но он заставил себя идти к сундуку. Неспеша начал собирать вещи. Немного золота, кинжал с широким клинком, тёмный плащ. Не знал, правильный ли это план. Не знал, хочет ли этого на самом деле. Но знал: здесь он умрёт. Не физически. Морально. Потеряет последнюю грань между «Я» и «Они».

Лиам выглянул в коридор. Стражник стоял к нему спиной. Размышлял о том, как скоро будет смена. Советник проскользнул мимо. Стражник не обернулся, мысли заняты супом и холодной постелью.

Он вышел из замка. Холодный воздух ударил в лицо. На мгновение шум придворных сплетен стих. Его заменил ровный гул ветра и стук копыт где-то вдали. Лиам тяжело вздохнул, пытаясь найти внутри хоть искру радости от свободы. Внутри была лишь привычная пустота. Чувствовал холод кожи, напряжение мышц, но не чувствовал себя.

Подошёл к конюшне. Гнедой жеребец уже был осёдлан, конюх выводил его за повод. Но у ворот возник капитан стражи. Тот самый, что пропускал его раньше. Чистое лицо, без шрамов, но с тяжёлым взглядом.

— Советник Вейн? Куда вы в такое время?

Мысли капитана изменились. Стали тяжёлыми, липкими, как смола.

Король приказал. Ни шага за пределы замка. Особенно ему. Особенно сейчас.

Лиам замер. Он не слышал этого приказа раньше. Король отдал его тихо, уже после совета, когда он вышел. Подозрительность короля работала быстрее ног советника.

— Советник Вейн? — капитан положил руку на рукоять меча. Мысли его были чёткими, как удар колокола.

Если пойдёт — я обязан его взять. Если станет сопротивляться — я имею право рубить.

У Лиамы был только один шанс.

— Король отправляет меня с секретным поручением, — доложил Лиам. Голос звучал уверенно. Чужой уверенностью. Он вспомнил тон генерала Брандона. Скопировал интонацию, усилил дрожь в груди. — Если вы задержите меня, вы задержите приказ короля.

— У меня другой приказ, — капитан не дрогнул. В его голове не было сомнений. Только долг. И скрытое, тёмное удовлетворение.

Всегда ненавижу эту змею. Наконец-то попался.

Лиам понял, что блеф не работает. Он не мог прочесть приказ короля, потому что король не думал о нём вслух в его присутствии. Он просто отдал команду устно. Бумаги спрятал. Лиам был слеп к тому, что не было озвучено мыслью. Знание имело пределы, власть — нет.

— Вы ошибаетесь, — запротестовал советник, в голосе проскользнула нотка паники. Он слышал её сам, но не почувствовал в груди.

— Ошибаюсь я или нет, решит суд, — капитан щёлкнул пальцами. Двое стражников вышли из тени. Тяжёлые сапоги, мокрая сталь. — Взять его.

Лиам не сопротивлялся. Зачем? Он слышал их намерения заранее. Знал траекторию рук, угол замаха, вес удара. Но знание не давало силы. Лишь делало ожидание удара более мучительным. Будто смотришь, как топор падает, зная точное место разреза.

Кандалы сомкнулись на запястьях. Холод металла показался ему единственным реальным ощущением за весь день. Король не посчитал нужным прерывать отдых. Лиам спустили в темницу. До тех пор, пока король не пожелает его увидеть. Если вообще пожелает.

Холод пробрал до самых костей. Сырой камень, спёртый воздух. Пахло плесенью, старой соломой и чем-то металлическим, вьёвшимся в стены за десятилетия.

Здесь, наедине с тишиной и темнотой, Лиам остался с осознанием: за решёткой будет решаться его судьба. Ему было страшно. Он стал зверем, загнанным в угол, без возможности выбраться.

Но впервые за день шум в голове стих.

Никаких придворных, интриг, голосов, впивающихся в виски. Только капли воды, падающие где-то в темноте. Кап. Кап. Кап.

И собственное дыхание. Ровное. Своё? Чужое? Он не знал. Но в этой тишине каменной клетки, впервые за долгое время почувствовал нечто, отдалённо похожее на покой.

Время в темнице не текло. Оно застаивалось. Становилось густым, вязким и однородным, как смола. Лиам не мог прикинуть, сколько часов прошло, сколько дней. Сверху, сквозь каменное перекрытие, иногда просачивались обрывки чужих сознаний: мысль о завтраке, смене караула, холодной постели и кислом вине. Но он уже ни в чём не был уверен. Голод выжег желудок, сделал разум решетом. Лиам мог принимать собственный бред за шаги стражи наверху. Стены плакали. Каждый звук в коридоре отдавался в черепе гулким, влажным ударом, стирая грань между камнем и безумием.

Когда дверь наконец заскрипела, свет факелов ударил в глаза, как пощёчина. Его вытащили наверх. Решили, что достаточно ослабили физически и морально, чтобы сломить волю. Привели обратно в тронный зал. Но теперь он стоял не у стола советников. Он стоял на холодном неровном камне перед троном на коленях. Факелы горели ярче, чем раньше. Выхватывали из тени лица тех, кого он слышал каждый день, но теперь эти лица казались чужими, искажёнными гримасами превосходства и брезгливости. Восковые маски, натянутые на черепа.

Король Аларик сидел, откинувшись на спинку железного трона. Пальцы нервно, сбивчиво барабанили по подлокотнику. Тук Тук. Тук В его голове ревела буря. Тяжёлая и липкая, как штормовое море: *«Предатель. Шпион. Я знал. Все они хотят меня свергнуть. Он первый, но не последний. Кто следующий? Гайус? Брандон? Этот пустоголовый пёс Лиам»*. Мысли короля били в сознание Лиамы чаще, чем его сердце билось в груди.

— Побег, Лиам? — голос короля был тихим. Но каждый звук отдавался болью в висках советника, усиливаясь эхом в пустом зале. — В ночь перед советом? В ночь перед походом? Когда каждый верный человек на вес золота?

— Я хотел — Лиам запнулся. Глотнул сухого воздуха. С трудом подбирая слова, которые не звучат как признание. Что он хотел? Найти ведьму? Обрести тишину? Доказать себе, что существует? Как объяснить это человеку, который считает каждую невысказанную мысль угрозой своей власти? — Я хотел помочь королевству. Найти способ выиграть без лишних жертв.

Капитан Варон стоял справа, смиренно сложив руки перед собой. Его мысли были ядовитыми, пропитанными злорадством: *«Попался, выродец. Ты применишь удар на себя. Его кровь смоем мои счёты с маршалом. Пусть казнят. Мне это на руку»*.

Годфри слева перебирал чётки, его сознание холодило расчётом: *«Если его казнят, имущество нужно изъять в казну. Мне нужно проследить, чтобы оно не досталось капитану. Земля в долине стоит дорого»*.

— Помочь? — Король встал медленно, словно тяжёлая статуя, ожившая по мановению руки. Тень от его фигуры накрыла Лиаму, лишая последнего остатка тепла. — Говорят, ты видишь то, что скрыто от других глаз. Шепчут, что заглядываешь в головы и души, как в раскрытые сундуки. Не притворяйся глухим, советник. Ты знаешь всё, что не было произнесено вслух. Ты знаешь, что я думаю о предателях.

Лиам поднял голову, встречаясь взглядом с королём. Он не мог сказать правду. *«Я проклят, Ваше Величество, я не имею себя, но слышу вас всех»*. Скажи он так прямо — его сожгут на костре не как предателя, а как одержимого. Колдуна, ведьмака. Это будет даже быстрее, чем казнь за шпионаж. Но гораздо мучительнее.

— Я не предатель, — возразил Лиам. Голос прозвучал хрипло, как треснувшая струна. — Я служу короне, Ваше Величество. Я знаю лишь то, что вижу и слышу. Как и все здесь присутствующие.

— Тогда кто ты? — Король сделал шаг вниз с возвышения, нависая над ним. — У тебя никогда не было своего мнения. Ты всегда повторял за другими, подстраиваясь, как хамелеон на камне. Ты как кукла. Чья ты кукла, Лиам? Кто дёргает за нити? Враг? Колдун? Или ты сам стал тенью, в которую прячутся чужие ножи?

Лиам молчал. Каждое слово могло затянуть петлю, которая, как он слышал из мыслей капитана Варона, уже готовилась для него на перекладине во дворе.

— Молчание — признание, — отрезал Король. В его мыслях вспыхнуло удовлетворение. Острое, тёплое. Он повернулся к страже, выстроившейся вдоль стен. — Заточить его в темницу. Три дня. На рассвете четвёртого вывезем его и казним у подножия Терроса в назидание. Перед строем. Чтобы армия видела, что бывает с теми, кто теряет верность. Чтобы знали: король видит всех насквозь.

— Ваше Величество, — начал было Варон, делая шаг вперёд. Мысль пульсировала радостью: *«Отлично. Убрать его нужно было давно, он слишком много слышал»*. — Может, стоит дождаться конца кампании? Терять советника перед битвой

— Нет, — Король жёстко махнул рукой, отсекая возражения. — Война начнётся после казни. Кровь предателя смывает неудачу перед походом. Это хорошая примета. Страх дисциплинирует лучше, чем золото.

Лиам подняли на ноги. Грубые руки стражников сжали его плечи. Оковы впились в кожу запястий. Он не чувствовал боли, только давление. Словно его тело стало чужим, сделанным из мёртвого дерева или сырого камня.

Его вели через коридоры. Мимо тех же гобеленов, изображающих победы предков. Мимо тех же стражников, с которыми он ещё вчера делил хлеб. Теперь их мысли были другими, окрашенными в тёмные тона страха и отвращения. *«Предатель», «Шпион», «Отребье», «Не смотреть на него, в друг сглазит», «Гниль»*.

Камера была сырой. Камень по-прежнему плакал. В углу шуршала крыса. Лиам сел на солому, привалился к стене. Мысль крысы была простой и понятной: *«Есть. Холодно. Спрятаться»*. Лиам позавидовал крысе. У неё был свой голос. Свой страх. Своё желание.

У него не было ничего.

Стражник у двери думал о девушке, которую встретит после смены. О тепле очага. О вине.

Лиам закрыл глаза.

Три дня. Семьдесят два часа шума. Семьдесят два часа чужих жизней, которые пройдут мимо него. А потом тишина. Настоящая. Вечная.

Его имя стирали из реальности быстрее, чем стирали следы сапог на полу. Ещё вчера он был советником, голосом разума. Сегодня он стал пустым местом, сосудом для чужого страха и презрения. Лиам едва волочил ноги, опустив голову, и слушал, как вокруг него захлопываются двери сознаний, словно ставни перед ураганом.

Он был один в комнате, полной людей. А в голове, полной чужих голосов, не было ни одного своего.

Лиам лёг на солому. Завтра придут священники. Будут спрашивать признания. Он будет молчать. Послезавтра придёт палач. Будет точить топор. На рассвете

Он закрыл глаза. В темноте мысли других людей продолжали шуметь. Стражники в коридоре, крыса в углу. Лиам не мог уснуть. Он просто ждал.

Советник был человеком, который знал все секреты мира, но не смог сохранить самый главный — секрет собственной жизни.

За стеной пробил колокол. Полночь. Осталось два дня.

И ни одной своей мысли.

Пророк без будущего

*Первый осколок упал в глаза ребенку,
Который увидел свою смерть прежде рождения.
«Я знаю конец», — сказал он,
И с тех пор живет в ожидании финала,
Не смея изменить ни единой строчки.
Его дар — видеть путь, но не ступить на него.*

Зал утопал в нарочитом, почти отчаянном великолепии. Королевство словно пыталось убедить само себя, что всё ещё живёт в изобилии, а не балансирует на краю пропасти. Пышностью надеялись скрыть трещины, ползущие по фундаменту державы. Замолчать весть о том, что главный советник Вейн брошен в темницу по обвинению в продаже королевских планов.

Гирлянды падуба, омелы и бледных роз, выращенных в королевских оранжереях ценой угля, пота и надорванных спин садовников, свисали с чёрных дубовых балок, напоминая тропические лианы, которых на севере никогда не было и быть не могло. Факелы в железных подсвечниках горели слишком ярко. Воск капал на каменный пол, шипел, растекался лужами. Тени ползли по гобеленам, где предки Мартина разили врагов, чьи имена давно стёрлись, а гербы превратились в размытые пятна. На галерее потели скрипачи, задыхаясь в тяжёлом бархате. Они играли стремительную, весёлую мелодию, полную жизни и обещаний. Для Мартина каждый аккорд звучал как отсчёт часов. Сыгранный в ускоренном, издевательском темпе, он отбивал ритм не для танца, а для обратного отсчёта до конца.

Принц стоял в тени гранитной колонны. Сжимал позолоченный кубок так крепко, что металл едва заметно гнулся. Вино было кислым, тёплым, отдавало медью, будто его настаивали на старых монетах. Он пил большими глотками лишь затем, чтобы занять руки. Иначе все увидят, как они дрожат. Или он схватится за эфес. А мечи сегодня должны быть символом мира, а не войны. Главное — не сбежать из зала, задыхаясь от запаха воска, пота и лжи.

В центре зала, на каменном помосте, натёртом до зеркального блеска, танцевала она.

София двигалась безупречно. С пугающей, механической точностью. Каждый шаг, каждый поворот, каждое движение запястья были выверены и отточены, как удары фехтовальщика, знающего, куда именно войдёт клинок. Тяжёлый шёлк её платья шелестел по полу. Мартин не мог отвести взгляд. Его приковала не только ледниковая красота, но и то, что происходило каждый раз, когда она делала пируэт.

На белом шёлке расцветали алые пятна. Росли, как живые организмы. На её тонких, бледных руках проступали перчатки из запёкшейся крови. В ладони вместо веера из страусиных перьев возникал кинжал с чёрной рукоятью. С острия медленно стекала густая тёмная жидкость. Это длилось лишь миг. Стоило Мартину моргнуть — платье снова белое, руки чистые, веер колыхается в такт музыке. Но образ жёг сетчатку. Пульсировал в такт его собственному сердцу.

Принц привычным, нервным движением прикрыл ладонью свой серый глаз. Не помогало. Видения проникали сквозь веки, сквозь кожу, сквозь кости черепа. Но этот жест стал ритуалом. Якорем. Единственной попыткой отгородиться от потока неизбежности, грозившего утопить сознание.

— Ты выглядишь так, будто собираешься прыгнуть в огонь, а не в объятия невесты, — голос рядом вывел его из транса. Грубый, усталый, пахнувший старыми курительными смесями и железом.

Отец, король Аларик. Старый лев с выбитыми зубами и гривой, посеребренной от инея неудач. Парадный камзол сидел на его похудевших плечах мешковато. Золотая цепь на шее казалась обузой, которую он не смел снять. Рядом, чуть в тени, стоял посол, лорд Шеймус

Руквуд. Человек, чьи глаза видели каждый шаг Мартина с пелёнок. Сегодня в его взгляде не было привычного тепла. Только холодный расчёт.

— Я просто устал, отец, — солгал Мартин, опуская руку. Внутри всё ещё пульсировало болезненное эхо. — Голова гудит от этого шума.

— Сегодня твой день, сын, — отец хлопнул его по плечу. Тяжёлая рука легла как камень. Как приговор, благословение, от которого нельзя отказаться. — Сегодня ты объявляешь о помолвке официально. После этого танца. Не подведи меня. Союз с их домом — щит от пограничных кланов. Хлеб для наших крестьян, жизнь для нашего королевства. Ты понимаешь цену?

— Щит, — повторил Мартин глухо. Вино кислой тяжестью легло на дно желудка. — Или молот, которым нас ударят, когда мы ослабим хватку?

— Не носи чепухи, — отец нахмурился. Морщины на лбу углубились, как трещины на пересохшей земле.

— Ваше Высочество, когда леди София станет вашей женой, мы сами станем молотом против наших врагов, — подсказал лорд Руквуд с ободряющей улыбкой.

— Иди, леди ждёт, — подтолкнул отец. — Женщины не любят, когда их заставляют ждать. Особенно те, у которых пустота в глазах.

Мартин сделал шаг. Каменный пол гулко отозвался под сапогами. Звук показался ему громом среди тишины. Музыка изменилась, стала тише, торжественнее. Финальная часть танца. Партнёры замерли в поклонах, словно куклы, у которых перерезали нити.

София подняла голову. Их взгляды встретились через весь зал. В высоком окне, среди слуг, разносящих подносы с вином, Мартин мельком заметил девушку в серой форменной юбке. Служанка Вальдбергов пристально изучала зал. Мартин подошёл. Поклонился, соблюдая этикет, протянул руку.

— Леди София, позволите ли вы мне провести вас в этом танце?

Она положила ладонь в его руку. Кожа была холодной, как лёд, вынутый из зимнего озера. Холод пробежал по нервам, заставив волосы на затылке встать дыбом. Они закружились по залу. Мартин старался держать лицо. Сохранял спокойствие, излучал уверенность, подобающую наследному принцу. Но одно лишь нахождение рядом с ней охладило тело, будто его уже заживо закопали, присыпали слоем сырой глины.

— Ваши родители довольны, — заговорила София ровным голосом. Словно читала опись имущества. — Все говорят, что это выгодная сделка.

— Сделка, — эхом отозвался Мартин. Горечь во рту смешалась с вином. — А вы? Вы довольны «сделкой», леди София?

— Мне всё равно, — отозвалась она. Глаза смотрели сквозь него. — Я уже была помолвлена однажды. Давно.

Мартин слегка кивнул. Он знал об этом. Как и знал, какая незавидная участь досталась её бывшему жениху. За их спиной, у колонны, он заметил принца Эдварда. Рядом, чуть позади, стоял капитан Варон. Его рука покоилась на эфесе, пальцы слегка сжимались и разжимались.

— Он вёл себя иначе, нежели вы, — продолжила София, не повышая голоса. — Не дрожал, касаясь моей руки. Не смотрел на меня, как на призрака. Вы боитесь меня, Ваше Высочество?

Вопрос повис в воздухе, тяжёлый и острый. Мартин почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Лопнуло под давлением, как натянутая струна. Страх, копившийся месяцами, кристаллизовался в холодную, острую решимость.

— Я боюсь не вас, леди София, — отозвался Мартин.

Видение накрыло его. С силой удара молота.

Самое яркое. Самое жестокое из всех, что он переживал. Пол залит кровью, повсюду осколки разбитых кубков, опрокинутые стулья. Он лежит на камне. София стоит над ним с

занесённым кинжалом. Кровь тёплая, липкая, капает с острия. Его кровь. Отмеряет время угасания. Лицо Софии спокойно. Слишком спокойно. В глазах ни триумфа, ни сожаления. Только выполнение необходимой работы. Как подпись под договором.

«Это судьба», — шептал внутренний голос. Скрежещущий, как жернова. «Ты не изменишь конца. В твоей власти лишь место. Выбери, где упадёшь».

Тонкая нить, что держала его разум от падения с края безумия, лопнула с тихим шелчком. Мартин остановился посреди зала. Музыка ещё играла, но он замер. София остановилась вместе с ним. Глядя с тем же пустым, вдумчивым любопытством.

Если я всё равно умру. Если конец уже написан чернилами, которые нельзя стереть, пусть не от её руки. Лучшие в бою, где есть шанс ударить в ответ. Пусть завтра, на поле, чем через год, в собственной спальне с перерезанным горлом.

Принц резко отпустил её руку. Вышел на середину зала, игнорируя недоумение гостей. Скрипки замолчали на полуноте. Будто музыканты забыли, как держать смычки. Тишина повисла густая, вязкая. Тысячи глаз обратились к нему. Шёпот пробежал по залу, как ветер по полю сухой травы, предвещающая бурю.

— Дорогие гости, — начал Мартин. Голос звучал чужим, будто в него вселился другой человек. — Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать союз.

Король и королева улыбались. Но в их улыбках уже застыло напряжение. Герцог Валериус кивал с достоинством, поглаживая усы. Герцогиня Элара выглядела сосредоточенной, поправляя рубиновое ожерелье. Рядом с ней, прижимая платок к груди, сидела Катерина. У неё глаза были на мокром месте. Младшая сестра была слишком чувствительна для этого мира. Мартин готов был ей это простить. В отличие от бесчувственности Софии, с которой он как ни старался, так и не сумел свыкнуться.

— Но союз не может быть построен на лжи, — продолжил Мартин. Видел, как улыбка сползает с лица отца. Маска трескается, обнажая старое, уставшее лицо. Видел, как герцог напрягся. Рука инстинктивно потянулась к поясу, где не было меча, только церемониальный кинжал для разрезания пирога. — И не может быть скреплён кровью жениха.

В зале повисла тишина. Такая плотная, что в неё можно утонуть. София стояла неподвижно, словно статуя, вырезанная искусным мастером, который забыл вдохнуть в камень жизнь.

— Что ты говоришь, сын? — голос Аларика был низким. Предупреждающим. Рык загнутого в угол зверя.

— Я говорю, что помолвка отменяется, — Мартин выдохнул. Слова вылетели, как стрелы, пробивая ткань этикета, разрывая дипломатию. — Я не женюсь на леди Софии.

Секунду никто не двигался. Потом зал дрогнул. Зашумел. Отчётливее всего звучала рвущаяся ткань доверия. Первое предательство этой недели ещё не успело остыть в подземельях, как королевство получило ещё один удар под дых.

Крики. Восклицания. Лязг стали. Стража шагнула вперёд. Лорд Руквуд следом. Его лицо, обычно добродушное, превратилось в бледный мрамор.

— Ваше Высочество, — голос посла, как и прежде, был бархатным, но теперь в нём сквозило отчаяние. — Вино ударило вам в голову. Или усталость. Мы можем отложить объявление на завтра. После отдыха.

— Я спасаю жизни, — возразил Мартин. Осознавая, как это звучит. Бред горячного. Хуже было, скажи он правду: *«Спасая себя от неё».*

— Спасаясь? — Герцог Валериус рассмеялся. Сухо и злобно. Так же лает цепная собака. — Ты думаешь, это игра? Думаешь, можно плюнуть в лицо герцогу и остаться безнаказанным? Думаешь, честь ничего не стоит? Ты начинаешь войну, мальчик.

Из тени колонны выступил Эдвард. Подбородок вздёрнут, глаза горят не юношеским азартом, а холодной жадой признания. Капитан Варон шагнул за ним, прикрывая спину принца корпусом.

— Если мой брат не способен нести ответственность, — голос Эдварда прозвучал звонко, разрезая гул зала, — я готов взять её на себя. Леди София, если мой род отвергает союз, мой дом примет его с честью. Я предлагаю вам руку, имя и защиту. Не как выгодную сделку, а как клятву моих чувств и намерений.

В зале ахнули. Королева Изольда прикрыла рот ладонью. Аларик медленно повернул голову к младшему сыну. В его глазах не было гордости. Был ледяной ужас и ярость.

— Как ты смеешь, щенок!?! — прошипел король. — Ты смеешь перебивать старшего брата, меня и герцога, играть словами, которых не понимаешь?

— Я понимаю, что такое честь, отец! — Эдвард не отступил. — В отличие от тех, кто прячется за чужими спинами.

— Заткнись. — Аларик сделал шаг к нему. Его остановила рука Руквуда. Посол покачал головой, взглядом умоляя короля отложить публичную расправу.

Герцог выпрямился во весь рост. Его лицо побагровело, но голос, когда он заговорил, был ровным. И от этого смертоноснее.

— Моя дочь вам не кобыла, чтобы так распоряжаться ею. Не захотел один — возьмёт другой! Что сработает с вашими северными девицами, нас недостойно. — Он шагнул вперёд. Тень от его фигуры упала на чету Эмберов. — А говоря о достоинстве, пора и нам получить своё. Не так уж вы устойчивы к своему холоду, он вас сводит с ума. Требуется правитель, чей разум будет трезв, иначе вы погубите весь мир. Корона Вальдберга возьмёт это на себя.

Слово «корона» повисло в воздухе, как топор над плахой.

Аларик побледнел. Оно всколыхнуло в нём древний страх. Он впитал его с молоком матери. Он окреп в напутствиях отца и деда. Аларику I Основателю был преподнесён дар Валериусом I Созидателем. Аларик всегда знал: дар можно вернуть. И всегда молился, чтобы этот день не настал при его жизни. Сегодня он настал. И зал, казалось, накренился.

— Валериус, нам следует поговорить в более приватной обстановке, — Аларик попытался сохранить голос ровным, но он дрожал.

— Я не желаю вести никаких разговоров, — отрезал Валериус. Голос перекрыл шум зала. — Если ваши люди преградят путь — они умрут. Клянусь богами, каждый, кто встанет у нас на пути, ляжет в землю до зимы. Никаких торгов. Никаких условий. Мы возьмём то, что наше по праву.

Он махнул рукой. Свита двинулась. Быстро. Организованно. Армия в шёлковых одеждах, скрытая под масками гостей. Расталкивали придворных, как зёрна на мельнице. Герцогиня Элара шла, не оглядываясь. Катерина искала взглядом Софию. Её губы дрогнули в беззвучном «прости», прежде чем она скрылась в удаляющейся толпе.

Мартин стоял в центре зала. Музыка не возобновилась. Гости смотрели на него как на прокажённого. Как на человека, который только что подписал смертный приговор всему королевству. Эдвард наконец осознал вес своих слов. Его уверенность пошатнулась, когда он увидел приближающегося отца.

Аларик спускался со ступеней трона, как лавина. Парадный камзол трещал по швам, золотая цепь била по груди, словно маятник. Лицо его было серым. Натянулось на скулах, как пергамент на барабане. В его шагах не было величия. Только тяжкая, неумолимая поступь человека, чей мир рушится. Он прошёл мимо Мартина, не остановившись. Остановился перед Эдвардом.

Мальчик хотел что-то сказать, поправил воротник, попытался выпрямить спину. Аларик не дал ему вымолвить ни звука. Удар пришёлся в скулу. Тяжёлый, размашистый, с глухим

шлепком. Звук прокатился по залу, как выстрел. Эдвард споткнулся, рухнул на одно колено, вытирая губу тыльной стороной руки. По коже потекла тонкая струйка крови.

— Запомни, щенок, — голос короля был тихим, хриплым, но каждое слово резало, как осколок стекла. — Твой язык — не меч. Он режет того, кто им машет. Ты поступил как мальчишка, который захотел поиграть в короли, пока старший брат демонстрировал трусость.

В зале никто не шелохнулся. Шеймус Руквуд медленно закрыл глаза, будто оборвалась не помолвка, а его жизнь. Аларик медленно повернулся к Мартину. Принц не отступил, не поднял руки для защиты. Он всё ещё видел кровь на полу, слышал скрежет камня о камень. В глазах не было страха, только та же ледяная, отстранённая пустота, какой славилась София.

Это взбесило короля больше, чем любой крик. Аларик схватил сына за отворот камзола, дёрнул на себя. Их лица оказались в дюймах друг от друга. От них обоих несло запахом распада.

— А ты, — прошипел он. Голос сквозил голым и липким отчаянием. — Ты назвал свою трусость «спасением». Отступил в последний миг. Ты не просто разорвал помолвку. Ты измарал герцогскую честь и вернул её с видом, будто от этого она стала чище. Сбежал от обязательств, показал, что наши слова ничего не стоят. Что мы сами ничего не стоим.

Вторая оплеуха была тяжелее. Не размашистой, а хлёткой, бьющей в висок. Сбивающей с ног не тело, а последнюю опору. Мартин покачнулся. В ушах зазвенело.

— Прости, отец, — прошептал он. Больше сказать ему было нечего.

— Прощения не будет. Оно кончилось вместе с этой династией.

Аларик медленно попятился. Ноги вдруг стали ватными. Он опустился на нижнюю ступень трона, закрыв лицо ладонями. Золотая цепь сползла на колени, тяжёлая, как якорь.

— Уведите их, — пробормотал он в пустоту, не поднимая глаз. — В покои. Под стражу. Пока я не решил, что делать с моими наследниками раньше, чем враги сделают это за меня.

Стража колебалась. Мартин поднялся сам. Вытер кровь с губы. Посмотрел на брата, корчившегося на полу. Взглянул на отца, сгорбившегося на троне.

Он сделал это. Изменил судьбу. Не женится на ней. Избежал удара кинжала в спальне.

Но почему видение не исчезло? Почему руки Софии всё ещё в крови? Почему он чувствует, что только что обрушил колонну, которая держала небо над их головами?

Мартин увидел свою смерть в двенадцать. Не как картинку. Как ощущение. Холод, проникающий под рёбра. Вкус меди и сырой земли. Сначала был сон: чёрная вода, лёгкие, сжимающиеся в сухой пустоте. Затем — колодец. Он наклонился за упавшей монетой, а в воде вместо его лица улыбнулся голый череп. Потом — зеркало. Смотрел слишком долго. Глаз налился красным, как уголь в кузнечном горне. И тогда он увидел, как лежит, рот в крови, на холодном камне, под дождём или в зале — обстоятельства менялись, но суть оставалась неизменной. Над ним стояла женщина с пустыми глазами. Он не знал её тогда, не знал имени, но знал с абсолютной, леденящей достоверностью, как она держит клинок — уверенно, как продолжение руки. Как не дрожит запястье в миг удара. Как не моргают глаза, фиксируя момент угасания жизни.

С тех пор видения не уходили. Они стали фоном. Шумом в ушах. Он знал, когда горничная уронит поднос, за миг до того, как фарфор коснётся пола. Знал, что в третьей кружке кипятка, и знал, что повернётся именно в этот миг, чтобы обжечься. «Ай». Не сильно. Но ровно так, как нужно, чтобы боль не отпускала три дня, напоминая: он не властен над своим телом, оно принадлежит судьбе, а не ему.

Он знал, какие кости выпадут у нищего в подворотне. Ставил монеты. Выигрывал. Потом проигрывал ровно столько же, подставляясь под слепые ставки. Страх нарушить равновесие был сильнее жадности. Знал, что пёс у конюшни укусит за сапог. Знал, что хлеб в трактире уже заплесневел изнутри. И никогда не мог удивиться. Никогда. Удивление было роскошью для тех, кто не видел судьбы заранее.

Мартин пытался бороться. Лгал себе: «сейчас я поступлю иначе». Шаг влево. Вправо. Промолчать. Ударить. И всегда результат — предсказанный. Словно судьба уже прописала его

выборы, а свобода воли была лишь рябью на воде, исчезающей при касании. Он возражал. В голосе звучала усталость старика, прожившего десять жизней в одном теле. Это не дар. Это клетка. Дар — когда ты выбираешь, что знать. Он знал всё. Неотвратимое. Застывшее.

Сегодня на него упадёт гнилая черепица. Он не увернётся. Потому что тогда картина рассыплется. Что тогда останется? Дыра? Хаос? Мартин убедил себя: мир держится на точности. Он — якорь. Если не проживёт увиденное, мир даст трещину. Если избежит удара, получит ли его кто-то другой? Вопросы грызли изнутри, как черви в трухлявом дереве.

А потом появилась она — и всё стало хуже. Он узнал её ещё до встречи. По взгляду, по осанке. По пустоте, что окружала её, как морозный воздух в июле. София. Его смерть носила древнее женское имя и выглядела как ангел, у которого вырезали сердце, оставив жить пустую оболочку. Но в отличие от святых, она не просила о милости. Она просто ждала, пока он подойдёт ближе. С тех пор они стали спутниками. Неразлучными, как клинок и ножны. Каждый её шаг, каждое слово, каждое движение приближало миг, который он видел тысячу раз. Пронзённая грудь. Кровь на губах. Её лицо без страха и жалости.

Знал: всё остальное в жизни — прелюдия. Разминка перед главным событием, как музыка перед финальным аккордом симфонии, которая неизбежно должна завершиться трагедией.

И всё равно надеялся. Как утопающий цепляется за щепку, которая не выдержит веса. Иногда — молча, шепча молитвы богам, которые не слушали. Порой — в бессилии, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони до крови. Временами — с такой ненавистью, что хотел ударить первым. опередить судьбу, пойти ей наперекор — убить Софию до того, как она убьёт его. Но не мог. Знал: если он ударит — она отразит. И убьёт. Раньше срока. Без пощады. Королевство останется без наследника, а война станет неизбежной.

Ему не нужна была вечная жизнь. Мартин нуждался в погрешности. Малейшем подтверждении тому, что он способен хоть чем-то в жизни управлять. Единственный раз принять решение, не зная, чем оно закончится. Обречь себя — но по собственной воле. А не потому, что на то указали видения.

Свобода хотя бы раз. Хотя бы в выборе, как упасть.

Ночь обрушилась на замок с внезапной тяжестью. Ветер ударил в зубцы, сбивая пламя факелов, каменные стены отдали холод, пропитанный сыростью и далёким запахом гари. Невидимая рука набросила на крепостные стены чёрное погребальное покрывало, отрезая последний слабый свет угасающего дня.

Мартин стоял на парапете, провожая взглядом огни карет, растворяющихся в темноте южной дороги. Подобно глазам гигантского зверя, отступающего в лесную чащу. Он ощущал кожей: это не просто отъезд, а временное отступление. Пауза перед ударом. Дар не показывал деталей, выхватывал лишь узлы. И сейчас узел сжимался.

Боль пронзила голову. Не головная боль. Удар молота по виску. Мир поплыл, уступая место наложению. Он увидел дорогу, утопающую в грязи. Карету, подпрыгивающую на колёсах. Внутренний воздух, спёртый от страха и дорогих духов. Лицо герцога искажено яростью, превратившей черты в каменную маску. Голос прозвучал не в ушах. В черепе. Хриплый, ядовитый, личный.

— Они заплатят. Мы не просто разорвём союз. Мы уничтожим их. Захлопнем гавани для внешней торговли.

Мартин дёрнулся. Порт. Единственная артерия севера. Зерно, сталь. Без него Артания задохнётся к первым заморозкам.

— Отец, — попыталась возразить София, но её голос тонул в гневе родителя, как камень тонет в проруби.

— Молчи! Ты слышала, что он сказал? «Не может быть скреплён кровью». Он назвал тебя убийцей. Он назвал нас мясниками.

— Он сказал, что спасает жизни, — тихо ответила она. В её голосе впервые прозвучало что-то, чего Мартин не мог понять. Не страх, не расчёт. Пустота, в которой что-то шевельнулось.

— Он сказал, что мы враги, — герцог ударил кулаком по стенке кареты. Звук отозвался в голове Мартина, как раскат грома. — Недругам прощают. Врагам мстят. Мы отплатим им кровью. За каждое оскорбление. За каждый косой взгляд. За каждую слезу. У нас есть армия, у них — только снег и камни.

София замолчала. Опустила взгляд на ладони. В видении они были чистыми. Мартин с леденящей достоверностью знал: скоро они покроются кровью. Его кровь станет частью этой расплаты.

Видение оборвалось так же внезапно, как и началось.

Мартин остался один на стене, с вкусом пепла во рту. Понимал: будущее уже наступило. Оно не ждёт, не спрашивает, оно просто происходит, как лавина, которую нельзя остановить криком.

Война.

Он пытался избежать смерти. Избежать брака. Вместо этого получил войну. И смерть всё равно придёт. Просто теперь не в спальне, а на поле боя. В грязи, криках тысяч умирающих, запахе горящего мяса и конского навоза. Заберёт с собой не только его. Отца. И королевство, которое он должен был защитить.

— Что я наделал, дурак, — прошептал он. Ветер подхватил слова, унёс в ночь.

За спиной скрипнула дверь. Звук показался оглушительным в тишине. Это был генерал Брандон. Человек, видевший больше войн, чем мирных дней. Глаза сейчас смотрели на принца не с уважением, а с тяжёлым осуждением.

— Ваше Высочество, король зовёт вас. Срочно.

— Он хочет убить меня, чтобы задобрить герцога?

— Он хочет поговорить, — капитан выдохнул, усталый от неизбежности. — Но совет настаивает заключить вас под стражу. Пока герцог не объявил войну официально. Чтобы вы не натворили ещё бед.

— Он уже объявил, — Мартин поднялся. Колени хрустнули, как сухие ветки. — Я только что видел. В карете. Они закроют нам гавани, прекратят внешнюю торговлю.

Капитан помолчал. перевёл взгляд на дорогу, где теперь была только тьма.

— Вы снова видели?

— Да.

— Тогда нам нужно готовиться. Если вы видели, значит, это случится. Закон вашего дара не знает исключений.

Мартин повернулся. В глазах капитана он увидел настороженность. Не за себя переживал. За королевство. За людей, что завтра проснутся и узнают, что мир кончился, а торговля встала. Армия юга идёт на север.

— Я не пророк, — солгал Мартин. Ложь горькая, сухая. — Я просто знаю.

— Отправим гонцов, — решил капитан. — Но если они уйдут к варварам нам конец. Те не знают жалости. А у нас нет хлеба на зиму.

Мартин посмотрел на тьму. Факелы исчезли.

— Нет, — сказал он. В голосе прозвучала странная, спокойная уверенность. — Нам не конец. Мне конец.

Он спустился со стены. Ноги ватные. Коридоры гудели: слуги с факелами, кузнецы в оружейной, женщины прятали детей, шепча молитвы богам, которые молчали. За один вечер мир изменился. Из-за одного человека. Из-за одного проклятия.

У поворота к тронному залу его перехватили. Лорд Руквуд стоял, опираясь на трость. Лицо серое, глаза ввалившиеся.

— Ты понимаешь, что натворил? — голос Шеймуса был тихим, но он не скрывал разочарования. — Семь лет. Семь лет я латал границы твоими обещаниями. Выстраивал регентский совет, готовил почву. Ты одним словом превратил щит в мишень.

— Я пытался спасти — начал Мартин.

— Ты сломал игру, — перебил посол. — И теперь нас ждут лишь убытки.

Мартин набрал воздуха. Решил рискнуть. Осторожно прощупать почву.

— Возможно Артании будет лучше без меня. Если я исчезну, вы сможете договориться.

Подготовить другого наследника. Эдвард

— Замолчи, — Шеймус стукнул тростью о камень. — Не играй в мученика, Мартин. Без тебя Эдвард на троне с Вароном в качестве советника спровоцирует войну не через год, а через месяц. Ты нужен Артании больше, чем твой брат. Молчи, делай, что говорят. И молись, чтобы герцог не дошёл до Розенгарда.

Мартин кивнул. Посол освободил путь.

Дверь в тронный зал была приоткрыта. Внутри воздух стоял густой, пропитанный дымом, потом и напряжением. Отец стоял у карты. Сжимал меч так, что кожа на рукояти скрипела. На столе донесение: границы уже закрывали, цены на провизию взлетели за час. Рядом стоял Эдвард. Скула уже посинела от отцовской пощёчины, но подбородок вздёрнут, кулаки сжаты до дрожи. Он не стал ждать, не дал Мартину даже переступить порог.

— Ты разрушил всё, — прошипел он, игнорируя этикет. В его голосе уже не было детской обиды. Только холодный, расчётливый азарт. — Отец, ты видишь, он не принц. Мартин — брешь в стене. Из-за него Вальдберги перережут нам глотку до зимы. Я готов взять ответственность. Дай мне титул, и я соберу то, что он разбил.

Мартин посмотрел на него с усталой отстранённостью.

— Твои намерения не столь благородны, как ты говоришь, Эдвард. Ты хочешь трон, чтобы доказать, что ты не щенок, которого отец может отхлестать по щекам.

— Я хочу выжить! — рявкнул Эдвард, но тут же осёкся. Перевёл взгляд на отца. — В отличие от тебя, я не бегу от реальности. Не прячусь за «видениями». Я готов умереть за Артанию, а ты готов сдать её, чтобы спасти свою шкуру.

Звук разорванного пергамента прервал спор. Аларик швырнул карту на пол. Его лицо покрылось красными пятнами, вены на шее вздулись, как канаты.

— Довольно! — голос короля ударил по сводам, заставляя стражников вздрогнуть. — Вы что, ослепли оба?! Я ещё жив! Трон ещё мой! А вы уже делите корону, как падальщики, чующие труп!

Он шагнул между сыновьями. Тяжёлый. Неумолимый.

— Вместо того чтобы объединиться, вы предпочитаете грызть друг другу глотки. Вальдберги уже в пути к столице, где вынесут нам приговор. А вы спорите, кто из вас лучше подходит на роль короля-трупа. Мартин разрушил союз. Да. Но ты, Эдвард, хочешь разрушить династию. Ты думаешь, армия пойдёт за шестнадцатилетним мальчишкой, который вчера ещё просил разрешения надеть шпоры? Варон продаст тебя первому же южному генералу за мешок золота!

Аларик перевёл дыхание. Руки дрожали, но голос стал ледяным, точным.

— Мы не делим трон. Мы его защищаем. Пока я дышу, корона одна. И она на моей голове. Запомните это, прежде чем решите стать героями на руинах.

Тишина повисла густая, вязкая. Эдвард стиснул челюсти, но шагнул назад. Мартин опустил глаза. Аларик медленно обернулся к карте, будто пытался собрать всё воедино взглядом.

— Ты разрушил всё, — сказал он Мартину, не поднимая глаз. Голос тяжёлый, звучащий как приговор. — У нас нет армии, чтобы противостоять им, нет провизии для осады. Эти гавани были нашей жизнью, сын. А ты перерезал горло собственному будущему.

— Я знаю, — ответил Мартин. Внутри сжималось от вины, но голос был ровным.

— Тогда исправь. Поезжай за ними. Умоляй. Ползи на коленях, если нужно. Целуй сапоги герцога. Скажи, что ты был пьян. Что ты безумен. Что угодно, лишь бы они изменили решение.

— Нет.

Король поднял голову. В его глазах — ненависть, смешанная с отчаянием. Наследник не просто вёл себя глупо, он был безрассудным.

— Ты предаёшь свой дом, кровь. В политике нет места страху, Мартин. Нельзя отказываться от единственной надежды из-за личных призраков.

— Я спасаю наш дом от меня, — поправил Мартин. Вся правда, которую он не мог объяснить, не назвав себя сумасшедшим. — Я слишком опасен, чтобы оставаться здесь. Мои видения они ведут к гибели.

— Ты уже погиб из-за своей трусости! — Аларик сделал шаг вперёд. — Неужели ты настолько труслив, что не можешь умереть в одиночестве, поэтому решил погубить и нас всех?

— Я проклят, и все это знают

— Твои видения — дар божий!

— Нет, отец, это проклятье, что сулит гибель нашему дому. Я не стану бороться за трон. У меня уже есть обязательства. И я признаю, что это только моя ответственность.

Он повернулся и двинулся к выходу. Стражники не пытались его остановить. Но когда дверь его покоев захлопнулась, снаружи повернулся ключ. Щелчок прозвучал как выстрел. Золотая клетка вместо железной. Пока Аларик пытается наладить отношения. Пока гонцы скачут на юг. Пока мир висит на волоске.

Мартин достал дорожную сумку из сундука. Уложил меч, сушёное мясо, карту. На западе — белое пятно. *«Земля, которую не отмечали на картах, — потому что те, кто пытался нанести её на пергамент, вскоре умирали».*

Он видел фрагмент будущего, который не показывал никому. Запад. Мёртвые Топи. В башне была ведьма. В видении он видел себя стоящим перед ней, в зале, где тени жили своей жизнью. Она предлагала ему выбор. *«Сними проклятие — и умрёшь сегодня. Оставь его — и умрёшь завтра. Но завтра ты можешь выбрать как. Ты можешь выбрать смерть воина, а не жертвы».* Мартин улыбнулся. Впервые за день улыбка была искренней, настоящей, без тени страха.

— Пусть умирают картографы, — прошептал он. — Я не картограф. Я беглец. Я не ищу землю. Я ищу конец.

Подожёл к окну. Внизу был сад. Ниже конюшни. Ночь тёмная. Идеальная. Но он знал: его будут искать. Сочтут дезертиром. Предателем. Трусом. Стража у двери не спала. Он слышал их сквозь дерево. Мартин не мог просто выпрыгнуть. Замок был высок. Падение сломает ноги, а ему нужно бежать.

Сорвал простыни с кровати. Связал узлами, которые запомнил с детства, играя в рыцарей. Верёвка получилась короткой, не доставала до земли. Ему пришло видение: как узел развяжется на середине, если он полезет сейчас. Нужно было укрепить его. Сорвал занавески, добавил ткани. Руки дрожали, но он заставлял их работать.

Перекинул узел через каменный выступ. Ткань натянулась. Теперь выдержит. Но только если он не будет дёргаться. Перекинул ногу через подоконник. Холодный ветер ударил в лицо. Пахло свободой и снегом. Начал спускаться.

Камень царапал руки. Ткань тёрла ладони до крови. Он следил за тенью стражника внизу. Замер, прижался к стене. Дыхание сбилось. Сердце колотилось. Он висел над пропастью, держась на узлах из простыней, и чувствовал себя более живым, чем когда-либо в тронном зале. Стражник прошёл мимо, не подняв головы. Мартин продолжил. Последний рывок.

Ноги коснулись земли. Перекатился, смягчая удар. Побежал, пригибаясь к земле, в тень кустов. Впереди ждала война. Впереди ждала смерть. Но сначала была ведьма. И, возможно,

шанс изменить обстоятельства собственной гибели. Он бежал в ночь. Оставляя за спиной замок, отца и королевство, которое он предал, чтобы спасти.

Давно он не знал, что его ждёт дальше. Это было прекрасно.

Та, чьи желания лгут

Шестой осколок упал в душу бродяги, Который желал лишь одного — желать. «Я хочу», - говорил он, Но мир отвечал ему наоборот, Ибо желания его стали компасом, что всегда врет. Его дар — идти туда, куда не надо.

Ветер на большаке всегда пах одинаково: пылью, конским потом и старой кровью, въевшейся в глубокие колеи. Дождь поднимал её со дна, заставляя пахнуть железом и ржавчиной, напоминая каждому, кто ступал по этой земле, что здесь никто не остаётся навсегда. Кроме воронов да костей. Белых, вымытых до блеска, словно предупреждение тем, кто ещё верил, что может обмануть рок. Земля переваривала людей медленно, оставляя лишь то, что не гниёт.

Кэс сидела на перевёрнутом ящике из-под вина на пригорке, наблюдая за дорогой. Рядом, словно выросли из тумана, материализовались Грег и Борода. Кэс очень хотела сделать это в одиночку. Чистое зло требует уединения, как молитва, чтобы никто не видел твоей слабости перед падением. Но Грег лишь ухмыльнулся, крутя в пальцах парный кинжал, а Борода тяжело сопел, поправляя ремень топора. Они знали: куда бы она ни пошла, они последуют.

«Весёлые мертвецы» не бросают своих. Даже когда те задумывают глупости. Кэс считала название идиотским, вслух не говорила. Скажешь — завтра переименуются в «Кровавых Волков», и тогда их точно всех повесят. А ей не хотелось быть повешенной. Поэтому молчала, сжимая зубы так, что желваки ходили ходуном.

Дождь моросил мелкий, противный, забивался за воротник. Идеальная погода для засады. Внизу показалась телега, запряжённая парой кляч. Вокруг шагали шестеро стражников в королевских цветах. В клетке сидел человек в цепях. Кэс улыбнулась. Улыбка вышла кривой, хищной. Она очень хотела пустить кровь. Настоящую, горячую, которая брызнет из артерии, когда она перережет горло первому встречному. Особенно тому, в клетке. Выглядит важным. Важные любят кричать, когда умирают. Простое, чистое желание. Без подтекста, без стратегии, без надежды на выгоду. Просто кровь, крик и тишина после.

Она спустилась с холма тихо, как тень. Не желая быть замеченной. А значит, её заметили сразу.

— Стоять! — стражник выхватил меч.

Кэс метнула кинжал. Целилась в горло. Хотела видеть, как захлебнётся. Клинок сорвался с руки странно, словно кто-то толкнул её локоть изнутри. Вонзился в ногу лошади. Животное взбилось, дёрнуло телегу. Стражник, попытавшийся удержать поводья, споткнулся о корень. Упал и сам насадился на своё копьё. Захлебнулся кровью быстро, без мучений.

— Чёрт, — выругалась Кэс, выхватывая второй кинжал. Она хотела мучить, а не дарить быструю смерть через несчастный случай. Это бесило её больше, чем пугал риск быть пойманной.

В бой вступили Грег и Борода. Они не знали таких проблем. Не страдали от рока. Их насилие было прямым, честным, эффективным. Лишённым всякой издёвки высших сил. Борода рубил направо и налево. Топор звучал как мясницкий инструмент, разрубающий кости с влажным хрустом. Грег мелькал между врагами, добивая тех, кто ещё дышал. Кэс стояла посреди бойни, чувствуя себя бесполезной. Очень хотела убить пленника, чтобы не стал свидетелем. Вместо этого нога скользнула на мокрой траве, и она пнула рычаг клетки, освобождая ему ноги, вместо того чтобы ударить в спину. Это было так типично для неё, что хотелось выть от бессилия.

Бросила кинжал в замок. Хотела заклинить механизм, чтобы никто не открыл. Тогда пленник останется в ловушке и сгниёт в клетке. Клинок ударил в пружину. Замок щёлкнул, дверца отворилась со скрипом. Человек внутри поднял голову. Посмотрел на неё глазами, пол-

ными боли и шума. Поморщился, будто от удара в висок. Кэс видела: внутри его черепа что-то работало, перегруженное, как кузнечный мех.

— Ты — заговорил он.

— Заткнись.

Хотела ударить его. Прямо сейчас. Врезать кулаком в это бледное, умное лицо. Нога снова скользнула. Вместо удара она пнула рычаг, освобождая руки. Сердито прошипела:

— Беги, идиот.

Стражники бросились на неё. Кэс хотела проиграть. Хотела, чтобы её поймали и казнили вместе с ним. Это было бы справедливо. Но двигалась как смерч. Клинки мелькали, находя щели в доспехах. Не хотела попадать — попадала. Не хотела убивать — убивала. Через несколько минут всё закончилось. На дороге лежали шесть тел. Телега горела, потому что Кэс хотела потушить огонь, но опрокинула фонарь.

— Кто ты? — впопыхах осведомился Грег, вытирая лезвие о плащ стражника.

Пленный взглянул на него. Потом на Кэс. Снова на Грега. В его взгляде не было страха. Только растерянность, словно он был узником не клетки, а собственного черепа.

— Не важно, — ответил он тихо.

— Как любезно. А ещё ряженный камзол, — фыркнул Грег.

— Не имеет значения, кто ты, когда вокруг столько оружия, которое хотели использовать против тебя, — беззлобно указала Кэс. Укол не убедил Грега перестать паясничать.

— Господин «Не важно», вы изволите остаться здесь и отведать стали, которую для вас приготовили стражники, или проедете с нами?

К этому вопросу пленный оказался учтивее. Видимо, для него это было важно. Они двинулись через лес, чтобы к ночи убраться подальше. Оставляли за спиной запах гари и сырой земли. Кэс ехала в хвосте отряда, на гнедой кобыле, которая постоянно спотыкалась. Она не любила эту лошадь, очень хотела её продать. Поэтому кобыла была лучшей в отряде: выносливой, быстрой и здоровой. Словно насмехаясь над её желаниями. Рок обладал специфическим чувством юмора, его любимая шутка: давать Кэс именно то, чего она не хочет, упакованным в красивую обёртку.

Впереди гарцевал Грег. Лидер шайки. Мужчина с амбициями короля и сообразительностью бревна. Крикнул, не оборачиваясь:

— Эй, Кэс! Хватит киснуть! Через неделю будем в городе. Сегодня пропьём всё до последней медяшки!

Кэс поморщилась. Не хотела пить. От вина болела голова. Значит, вечером её ждёт лучшее вино в таверне, и голова будет болеть так, будто внутрь засунули ежа. Огрызнулась:

— Я не кисну. Я думаю.

— О чём тут думать? — хохотнул Борода. Смех прогремел, как камнепад. — Деньги будут. Бабы будут. Жизнь хороша!

Кэс вздохнула. Жизнь была хороша. В этом и заключалась проблема. Последний месяц выдался на редкость удачным. Ограбили купеческий караван, потому что очень не хотела грабить купцов, боялась охраны. Нашли схрон с золотишком, потому что не хотела искать сокровища, считала сказками. Ели мясо каждый день, спали под крышей, мылись и даже стирали одежду. Изобилие давило на неё тяжелее, чем голод.

Решили устроить привал. Разбили костёр. Кэс очень хотела тепла. Дрова были сухие, но огонь только дымил, не желая делиться жаром. Грег и Борода сидели рядом, жевали мясо, снятое с припасов телеги, смеялись над тем, как стражники сами себя перебили. Кэс сидела чуть в стороне, держа кусок хлеба. Жевала медленно, механически, не чувствуя вкуса. Мысли были заняты произошедшим. Пленник, сидевший на обрубке рядом, нарушил тишину:

— Ты спасла меня. — Голос тихий, но в нём звенела сталь.

— Я хотела тебя убить. Понимаешь? Убить, — огрызнулась Кэс, с нескрываемой злобой воткнув нож в бревно, на котором сидела. — Но что-то пошло не так.

— Я слышу тебя, — сказал он вдруг. В его взгляде была такая усталость, словно он нёс на плечах весь мир. — Твои мысли. Они громкие. Ты хотела меня убить, но ты меня спасла.

Кэс рассмеялась. Зло, нервно. Грег поднял бровь:

— Ты о чём это, шептун? Мысли слышишь? Может, ты колдун?

— Я Лиам Вейл, советник был советником в Гранитхолде, — поправил пленный, протирая запястья, где остались синяки от кандалов. — Я слышал слишком много. Король решил, что мёртвый советник надёжнее живого.

— Колдун, — фыркнул Борода, отрывая кусок мяса от кости. — Слышь, Грег, а может, он нас на ведьму выведет? Говорят, в Топях одна живёт. Снимает порчу за душу.

— Ага, — поддержал Грег, скаля зубы. — Может, и тебя вылечит, Кэс. А то ты тоже вечно ноешь, что тебя прокляли. Может, это просто женское?

Кэс замерла. Воздух вокруг неё словно стал плотнее, холоднее. Она медленно повернула голову к Грегу. В её глазах было столько льда, что огонь костра казался рядом с ней холодным.

— Если ты ещё раз откроешь рот обо мне, — сказала она тихо. Голос был мягким, как бархат, скрывающий лезвие. — Я забуду, что ты мой боевой товарищ. И тебе придётся на себе прочувствовать, каково это, когда режут медленно.

Грег поднял руки, улыбка сползла с его лица:

— Ладно, ладно. Я просто пошутил.

— Не трепитесь обо мне первому встречному, — отрезала Кэс, убирая нож. — Мои проблемы — это мои проблемы.

Лиам смотрел на неё. В его голове шум стоял нестерпимый. Мысли Кэс были самыми громкими. Они были как спорящие голоса: один кричал о ненависти, другой диктовал движения рук.

— Я иду в Топи. Не за исцелением. За тишиной. Там есть кто-то, кто может забрать голоса, — поделился Лиам.

— Ведьма, — фыркнула Кэс. — Конечно. Все идут к ведьме. Как мотыльки на огонь. Только ведьма эта, говорят, питается душами.

— Лучше ведьма, чем этот шум, — Лиам прижал ладони к ушам. — Ты даже не представляешь, что такое слышать мысли каждого встречного. Знать, что друг планирует предательство. Что король боится тебя. Что жена любит другого.

— А я не знаю, что я чувствую, — тихо сказала Кэс. В этот раз в её голосе не было злости. Только пустота. — Потому что мои чувства всегда врут. Думаю, что люблю — ненавижу. Думаю, что боюсь — хочу. Я пустая оболочка, которую ветер гонит в противоположную сторону.

— Может, там, в Топях, мы оба найдём тишину, — сказал Лиам.

— Или смерть, — добавила Кэс. Она очень хотела жить. Значит, смерть была близка.

Когда еда закончилась, Грег достал грязную колоду карт. Борода начал чистить свой топор. В этом привычном шуме лагеря Кэс нашла момент для ритуала, который ни разу не пропускала за годы своего скитания. Единственное, что связывало её с той жизнью, где она была тем, кем хотела.

Достала из внутреннего кармана плаща маленький свёрток ткани, аккуратно развернула. При свете костра блеснула тонкая деревянная палочка с узорами на конце. Зубочистка, вырезанная мастером, который давно умер. Как и вся её семья. Принялась методично чистить зубы. Чувствовала, как Грег усмехается, но молчит. Они знали: это её способ сказать себе, что она ещё человек, а не просто инструмент для убийства.

— Опять за своё, леди Кассия? — хохотнул Борода наконец. В его голосе не было насмешки, только усталое принятие её странности.

— Так положено, — буднично отозвалась Кэс, не отвлекаясь от процесса. Контролировала скользящее дерево между зубами. Простой акт чистоты, как избавление от остатков пищи, ценился ею больше, чем все деньги, которыми им удавалось разжиться.

— Кем положено? — поинтересовался Лиам.

Кэс закончила. Сплюнула в огонь, где слюна сгорела с тихим шипением. Только потом подняла глаза, встретила с его взглядом.

— В хороших домах, — неохотно отозвалась она. В этом ответе было всё, что она могла рассказать о себе, не произнося ни слова лжи. — Девочки из хороших семей всегда чистят зубы после еды. Это признак воспитания.

Борода фыркнул, наполняя рот дымом курительной смеси.

— Мы теперь в хорошем доме? Среди вороньих-то гнёзд?

— Где бы мы ни были, — Кэс убрала свёрток обратно. Прятала глубоко, словно сокровище. — Я знаю, кем я была, пока не пришлось стать той, кем не хотелось.

— Вы леди Кассия Миллфилд? — Лиам осторожно заговорил, словно ступал по тонкому льду. — Дочь графа Уильяма? Я слышал о вас ещё десять лет назад вас рассматривали как выгодную партию для наследного принца. До того до того, как всё случилось

Воздух вокруг костра словно исчез. Кэс почувствовала, как кровь отливает от лица, оставляя его холодным и мёртвым. Боль вспыхнула внутри. Острее любого ножа. Память о том, кем могла стать, если не проклятье, смерть родных, не этот мир.

Кэс вскочила на ноги. В движении было столько ярости, что Грег инстинктивно отшатнулся. Лиам замер, осознавая, что перешёл черту.

— Заткнись! — угрожающе гаркнула она, готовая перейти к действиям. — Не лезь не в своё дело. Если тебе так хочется покопаться в чьей-то родословной, мы можем оставить тебя у ближайшего скриптория. Пусть монахи расскажут тебе сказки о мёртвых графах.

Лиам опустил глаза. Кэс не сжалась. Воспоминания жгли изнутри, заставляя хотеть убежать, скрыться, исчезнуть. А значит она осталась стоять на месте. Сжимала кулаки так, что ногти впились в ладони.

— И знай, что в их рассказах о графе Уильяме Миллфилд будет очень мало правды, — повторила она уже тише, но от этого не менее опасно. — Если ты ещё раз назовёшь меня леди, мне даже забывать о тебе не придётся. Я без тени сомнения покажу, насколько холодна моя сталь, когда клинок войдёт в твою глотку. Чего расселись, девочки?! — с большим нажимом продолжила. — Я как раз чувствую, что мы могли бы заночевать здесь. Поэтому нам пора в путь.

Двинулись дальше. Уже в ночи дорога привела их к трактиру «Зуб Ворона», стоявшему на перекрёстке, как паук в центре паутины. Кэс очень хотела тишины, хотела пройти мимо. Хотела спать. Поэтому когда они вошли внутрь, их встретил грохот, пьяные песни, звон кружек и такой шум, что заложило уши. Грег сразу влился в толпу, обнимаясь с торговцами. Борода уже требовал бочку эля. Кэс устроилась в углу, сжимая голову руками. Её желание покоя исполнилось наоборот, превращая ночь в адский шабаш. Лиам сел напротив, морщась от каждого звука. Для него это был не просто шум. Поток чужих желаний, грязных и липких.

Пили лучшее вино, как и предсказывал рок. На утро голова Кэс болела так, будто внутрь засунули ежа, а затем заставили скакать галопом от Пограничных Земель до Артании без остановок. Во рту остался вкус чего-то сдохшего. Кэс нехотя открыла глаза. Долго глядела в потолок, который казался слишком низким, слишком давящим. Пока невнятный шелест не привлёк внимание, вынуждая повернуть раскалывающуюся голову.

Лиам уже стоял у двери, собрав свои лохмотья. Кэс поняла, что он уходит. В её голове мелькнула предательская мысль: *«Он мог стать четвёртым. Он ползет, слышит опасность.»*

Должен остаться с нами». Как только эта мысль оформилась, как только желание утвердиться в сознании, она поняла: всё кончено. Если она хочет, чтобы он остался, рок заставит его уйти. Чтобы соблудности баланс. Чтобы наказать её за привязанность. Попыталась распрямиться, дать знак, что застала его сборы. И испортила его план, если он намеревался уйти без прощания.

— Ты уходишь, — с трудом выдавила из себя Кэс. Голос прозвучал как ржавые петли. Пришлось откашляться, нарушить тишину.

Лиам обернулся. В его глазах не было удивления, только понимание законов этого мира.

— Ты этого хочешь? — вдруг спросил он.

— Я хочу, чтобы ты сдох, — соврала Кэс. Единственная ложь, которая могла сработать как правда в её мире. — Чтобы тебя никогда не было. Чтобы я тебя не видела.

— Я знаю, — Лиам улыбнулся. — Ты думаешь обратное. Я слышу.

— Тогда ты знаешь, если останешься, ты умрёшь, — Кэс встала, шатаясь, подошла к нему. — Потому что я захочу тебя сохранить. А всё, что я хочу сохранить, сгорает.

Лиам кивнул. На его губах тёплая улыбка обрела тень грусти.

— Тогда я уйду. Чтобы ты осталась невиновной.

— Иди к своей ведьме, — Кэс отвернулась, чтобы он не видел её глаз. — И постарайся не попасться снова. В следующий раз я не промахнусь.

— Я знаю, — Лиам открыл дверь. — Спасибо, Кэс. За всё.

Дверь закрылась. Она осталась одна в мирно спящей таверне, где Грег ещё храпел на столе, а Борода сразу после пробуждения взялся доест чужой завтрак.

— Ушёл, сволочь, — ругался Борода. — А мы его от смерти спасли.

— Нам-то что? — усмехнулся Грег. Но в его глазах была пустота. — Мертвецам всё равно, кто рядом.

— Не всё равно, — Кэс повернулась к ним. Пытаясь пристыдить взглядом. Но её внешний облик гувернантки подпортила небрежность в волосах, делая похожей на ворону, потерявшую гнездо. — Мертвецы помнят, кто был жив вместе с ними.

Кэс достала свёрток, проверила зубочистки. Поняла, что теперь она снова единственная проклятая в их шайке. Состав «Весёлых мертвецов» остался неизменным. Это было именно то, чего она хотела вчера. Сегодня это было худшим наказанием, которое мог придумать рок.

Воспоминания о поместье Миллфилд вызывали у Кэс физическую боль. Ныло в груди каждый раз, когда запах дождя на одежде смешивался с чем-то сладким, похожим на цветущую липу. На мгновение мир становился простым и понятным. Безопасным. Как хорошо сшитое платье, что не жмёт в плечах и не тянет в подоле.

Это было на самом юге Вольных Земель. Там солнце не просто светило, а ласкало кожу, как живой организм, заинтересованный в благополучии тех, кто ходил по этой земле. Торговые пути пересекались, как артерии огромного тела, принося в дом Миллфилдов золото, пряности и ткани таких оттенков, какие на севере считались сказкой. Их дом не был крепостью с холодными стенами и узкими бойницами, через которые смотрят на мир с подозрением. Их дом был просторным поместьем из светлого камня, увитым плющом. Он менял цвет от изумрудного весной до багряного осенью. Вокруг него раскинулся сад. Кэс любила его больше, чем себя. В саду всё росло так, как должно было расти. Семена становились цветами, цветы плодами. В этом был порядок. Которого теперь не хватало в её жизни.

Отец, граф Уильям Миллфилд, был человеком, чья сила заключалась не в громком голосе или тяжёлом мече. Его сила была в спокойной уверенности того, кто знает цену своему слову. «Прибыль можно вернуть, — учил он. — Имя нельзя». Мать, графиня Роуз, пахла лавандой и тёплым тестом. Верила, что зло можно выкорчевать, как сорняк, если просто вовремя полоть грядки. Они жили далеко от шахматной партии герцогов и королей. Могли позволять себе роскошь быть просто людьми. Собирались за ужином при свечах, обсуждали погоду, цены на

ткани, сорта новых роз в нижней аллее. Кассия была счастлива. Насколько может быть счастлив человек, не знающий, что счастье — лишь пауза между катастрофами.

Проклятье не пришло с грозой. Не оставило чёрного знака на небе. Оно проникло в её жизнь тихо. Как вор, который знает, где спрятаны ценности. Началось всё с желания, такого простого и чистого, что даже сейчас, спустя годы, Кэс не могла вспоминать о нём без тошноты.

Ей было шестнадцать лет. Старая яблоня никак не хотела плодоносить. Она рассматривала её, думая искренне, всем сердцем: *«Пусть этот сад всегда живёт и ничто в нём не увядает»*. Желание защиты, сохранения красоты. Рок, что тогда уже слушал её с извращённым вниманием, кивнул. Решив, что жизнь можно сохранить только одним способом: забрав её у других.

В тот же год караваны начали ломаться. Попадали в полосы неудач, которые казались слишком закономерными, чтобы быть случайностью. Корабли тонули в штить. Повозки теряли оси на ровной дороге. Партнёры находили причины разрывать контракты. Золото, текшее в дом рекой, стало утекать сквозь решето. Уильям старел не по дням, а по часам. Кэс очень хотела, чтобы он оставался сильным. И именно это желание, вероятно, отнимало у него силы быстрее, чем любая болезнь.

Она видела, как меняется его лицо, как глубокие морщины прорезают лоб. Как гаснет блеск в глазах, когда он изучал счета. Молилась: *«Пусть справится, найдёт выход. Пусть не сдаётся»*. Каждая молитва становилась ударом кнута для его судьбы. Для неё «хорошо» означало катастрофу для тех, кого она любила.

Кэс верила в отца слепо, с той абсолютной верой, которая бывает только у детей, не знающих, что родители смертны и уязвимы. Думала: если желать его успеха достаточно сильно, рок не посмеет коснуться. Не понимала, что она и есть та жестокая судьба. Тот яд, что пустили в дом, не зная об этом.

Разорение не пришло постепенно. Обрушилось в один день, как крыша, подточенная древоточцами, которая держалась только до первого серьёзного ветра. Кредиторы, вчера бывшие друзьями, сегодня стояли у ворот с требованиями, которые невозможно было выполнить. Уильям закрылся в кабинете. Кэс очень хотела, чтобы он вышел, сказал, что всё решено, что это были временные трудности. Но дверь не открывалась. Когда её выбили, нашли графа висющим на балке. Верёвка была той самой, которую он использовал, чтобы подвязывать её розы.

Она не знала тогда, что это из-за неё. Что его отчаяние было усилено её желанием, чтобы он «справился». Мир решил, что единственный способ справиться с долгами, которые невозможно отдать — уйти из жизни, оставив долги неоплаченными. Осознание пришло к Кэс позже. Медленно, как холод, проникающий в кости зимой. Когда пришло — грызло изнутри, как червь, поедающий яблоко, оставляя кожуру целой.

Мать умерла вскоре после этого. Не от болезни, от тишины, воцарившейся в доме. Кэс очень хотела, чтобы они справились с этим горем. Поддержали друг друга. Чтобы мать не угасала. Поэтому мать угасла. Желание было законом, который всегда исполнялся наоборот. Когда она осталась одна в большом доме, который теперь принадлежал ростовщикам, поняла, что не может остаться. Если захочет, чтобы дом остался её, он должен сгореть.

Поджог не был мстью. Это было актом отчаяния. Попыткой обмануть рок, загнавшую в угол. Стояла на холме, наблюдала за тем, как пламя пожирает светлый камень, плющ, сад. Хотела, чтобы огонь погас. Хотела закричать, чтобы спасли розы. Огонь разгорался сильнее. Пожирал прошлое, ставшее слишком тяжёлым, чтобы нести его дальше. В том огне сгорела леди Кассия Маргарет Энн Миллфилд. Осталась только Кэс. Девушка без дома, без имени и без права на желание.

Потом были годы скитаний. Пыталась сделать их нормальными. Обмануть проклятие, выбирая пути, которые казались безопасными. Сначала решила стать пекарем, потому что хлеб — жизнь. Он нужен всем. Очень хотела, чтобы её хлеб был лучшим в городе, чтобы люди

любили её выпечку, чтобы у неё было своё дело. Пекарня сгорела через неделю после открытия. Хозяин сказал, что она принесла несчастье, выгнал, не заплатив ни медяка.

Ушла в монастырь. Там желания не имеют значения. Там молятся о чужих душах. Очень хотела найти покой в тишине молитв. Чтобы мысли перестали влиять на мир. Монастырь сгорел тоже. Не от огня. От чумы, которая пришла вслед за ней. Настоятельница обозвала дьяволом. Кэс знала: она просто девочка, которая хочет быть хорошей, но не может.

С каждым годом она осознала всё глубже: не кредиторы убили отца. Не горе убило мать. Её любовь и забота. Её желание защитить сработало как яд. Вина стала её неотъемлемой частью. Как шрам, что не заживает. Возненавидела разговоры о Миллфилдах. В них всегда лгали: «Граф не справился, на него навалилось слишком много. Времена стали лихими, серебро оскудело». Кэс знала: на него навалилась только она сама. Она была тем камнем, что утянул его на дно. Никогда не могла признаться вслух. Это было выше её сил. Кэс боялась, если скажет «это я убила его», мир воскресит его, чтобы продолжить её страдания. Ярость при упоминании родителей не сдерживала никогда. Не могла. Когда кто-то начинал рассказывать историю о разорённом графе, не выдержавшем давления, её глаза темнели, руки сжимались в кулаки.

Затем стала разбойницей, частью «Весёлых Мертвецов». Это было не выбором, а единственным возможным путём. Это было то, чего она не хотела. Абсолютно, глубоко, всем существом своим не хотела быть бандиткой, грабить и видеть кровь. Мир оставил её в покое, позволил жить в этой роли. Единственное желание, которое исполнилось правильно: она не хотела, поэтому это случилось.

Грег и Борода не спрашивали о прошлом. Видели, как она работает ножом. Видели, что удача всегда на их стороне, пока она рядом. Не знали, что эта удача куплена ценой её ненависти к самому процессу. Смеялись, пили, рассказывали грубые анекдоты. Кэс смеялась вместе с ними. Внутри была той девочкой в саду, которая хочет, чтобы яблоки созрели, хотя знает: они сгниют на ветке.

Носила вину в себе, как второй скелет. Иногда ночью, когда Грег храпел, а Борода курил у костра, доставала свой свёрток и чистила зубы. Действие было якорем, держало в реальности. Напоминало: она всё ещё человек. У неё есть рот, зубы, вкус, есть прошлое, где её учили опрятности. Где мать говорила: «открой рот, милая», в эти минуты не была проклятой, не была разбойницей, не была убийцей, она была просто Кассией. Делющей то, что положено делать девочкам из хороших семей.

Но утро наступало всегда. Солнце вставало, проклятие снова включалось. Теперь Кэс должна была желать, чтобы день был плохим, чтобы они не попали в засаду, чтобы у них была еда. Шептала про себя *«пусть мы голодаем»* — чтобы получить хлеб. *«Пусть нас поймают»* — чтобы остаться на свободе. Жизнь превратилась в бесконечный танец на лезвии ножа, где каждый шаг должен быть рассчитан наоборот.

Когда встречала людей, которые говорили о справедливости. О том, что добро вознаграждается, а зло наказывается, смеялась. Смех был злым. Знала правду, которая была хуже любой лжи: добро наказывает тех, кто его желает. Зло вознаграждает тех, кто его отвергает. Она была живым доказательством этого закона. Ходячим изгоем, которая должна была сгореть. Но не сгорала, потому что очень хотела сгореть.

В глубине души, там, где никто не мог слышать, даже чтец дум вроде Лиама, надеялась. Однажды встретит ведьму, которая сможет снять проклятие. Или убить её. Или сделать так, чтобы её желания наконец совпали с реальностью. Хоть на один день. Хотя на один час. Чтобы могла пожелать: отец жив. Он вышел из кабинета, сказал: «всё хорошо». Сад цветёт, мать печёт хлеб. Никто бы не умер.

Но пока шла по дороге. В пыли, в компании мертвецов, что были живы. Чистила зубы после еды. Ненавидела себя за каждое спасение, за каждое убийство, что она совершала. За

каждое слово, что она говорила. Все они были ложью, которую диктовал ей рок. Пленница собственной воли, работавшей как неумолимый круговорот. Разрушала всё, к чему прикасалась. Оставляла нетронутым только то, что презирала.

Это было самое страшное наказание. Хуже смерти. Хуже ада. В аду ты страдаешь за грехи, а она страдала за добродетели, любовь и надежду. Знала: если действительно полюбит кого-то — убьёт его желанием защитить. Поэтому не позволяла себе любить. Не позволяла себе желать. Пустая оболочка, движущаяся по привычке. Только зубочистка в кармане напоминала: когда-то она была полной. Была целой и настоящей.

Кэс оглядела товарищей. Грязные, зубастые, довольные. *«Могло быть хуже»*, — подумала она. И тут же почувствовала, что воздух вокруг стал тяжелее. Птицы замолкли. Ветер перестал шелестеть в кронах. Она совершила ошибку. Подумала, что может так жить. Для Кэс мысль *«хочу, чтобы это продолжалось»* была равносильна мысли *«прошу прямо сейчас уронить на нас огромный камень»*.

— Стоять, — настороженно рявкнула она.

— Что? — Грег натянул поводья.

— Как-то странно пахнет, — Кэс втянула носом воздух, огляделась. Медь, пот и что-то сладковатое, как гниющие яблоки. Лес стал слишком тихим. Даже мухи перестали жужжать. — Давайте назад.

— Ты с ума сошла? — Борода оскалится. — Мы почти у тракта. Там добыча ходит.

— Я не хочу добычи. Хочу в свою нору. Есть сухари и пить воду.

— Вот и сидела бы в своей дыре, — фыркнул Грег. — А с нами пойдёшь за золотом.

За поворотом стояла карета. Тяжёлая, кованый ларь на осях, запряжённый четвёркой вороных. Дверца выбита. Вокруг неё уже месились люди: наёмники в стёганных куртках и стражники с герцогскими перевязями. Кто-то начал резню. Сталь звенела о сталь. Крики, хрип, топот. Кровь уже впитывалась в пыль, делая её липкой и тёмной.

Грег присвистнул.

— Чужие почистили охрану, осталось только подобрать кости. Кажется, сегодня мы станем знатью.

— Не надо! — возразила Кэс. — Это ловушка. Или проклятие, — последнее она проговорила одними губами.

— Это золото, девочка, — Грег выхватил меч. — В атаку!

Разбойники рванули с места. Кэс осталась сидеть на коне. Она не хотела крови. Значит, её будет по колено. Очень не хотела терять друзей. Значит, они умрут. Кэс не хотела оставаться одна. Рок любил выбирать наименьшее из зол. Обычно это было то зло, которого она боялась больше всего.

Она спешила. Выхватила кинжалы. Не хотела убивать. Целилась в руки, ноги, в стремени. Крутилась между телами, стараясь не задеть никого смертельно. Но проклятье работало как закон: чем сильнее она отталкивала смерть, тем ближе та подходила. Клинок соскальзывал с рёбер, стрелы пролетали мимо, распарывая воздух в дюйме от щеки. Враги спотыкались о корни, натыкались на мечи соратников. Кэс двигалась сквозь бойню как призрак. Живая, потому что отчаянно хотела умереть. Неуязвимая, потому что не хотела побеждать.

Грег закричал. Ему разрубили плечо. Он тут же получил копьё в горло. Борода рухнул, простреленный тремя арбалетными болтами. Кровь хлестала на сухую землю, впитываясь мгновенно, жадно.

Кружилась в вальсе со смертью, чувствуя, как подступает тошнота. Она намеренно подставляла бок, шею, спину. В глубине души там, где даже её собственная воля боялась шептать, она умоляла: *«Ударьте. Хоть один. Положите конец»*. Но клинки разили мимо. Стрелы ломались. Она была проклята выживать.

— Убейте меня! — крикнул кто-то в гуще свалки. Странник в потёртой броне появился из пыли, как вырвавшийся из ада. Лицо в шрамах, глаза безумные. Он не защищался. Подставлялся под удары, смеялся, когда лезвие рассекало кожу. Стражники и наёмники косились на него с ужасом. Этот человек не боялся смерти. Он её звал. Он врезался в бой, как ураган. Наёмников добивал, стражников калечил. Ему было всё равно, чья кровь оросит его меч. Но и ему, по злой иронии, не хотелось и капли крови Кэс.

Вскоре всё кончилось. Лесная поляна превратилась в бойню. Тела лошадей смешались с телами людей. Карета лежала на боку, колесо медленно вращалось, словно прощаясь с миром.

Кэс сидела на корточках посреди тишины. Она была одна. Из «Весёлых Мертвецов» не осталось никого. Она очень хотела, чтобы Грег встал. Грег лежал с открытыми глазами, в которых застыло удивление. Она очень хотела, чтобы это был сон. Но запах кишок и железа был слишком реален.

— Чёрт, — сказала она в пустоту. — Вот же сукины дети.

Она пошла к карете. Внутри никого не было. В этот же момент из-под обломков колёс послышался шорох. Кэс напряглась. Очень не хотела добивать выживших.

Из-под телеги выбралась девушка. Белое платье испачкано грязью и чужой кровью. Лицо бледное, спокойное. Никакого страха. Никаких слёз. Отряхнула подол, будто вышла из экипажа на бал, а не из мясорубки.

Девушка посмотрела на Кэс. В её глазах не было ничего. Ни мольбы, ни угрозы. Пустота.

Кэс почувствовала, как внутри закипает злоба. Не справедливая, не героическая. Просто тупая, человеческая злоба. *«Почему ты? — подумала она. — Почему все мои сдохли, а ты, холодная рыба, вылезла из этой кучи?»*

Она очень хотела убить эту девушку. Просто чтобы восстановить баланс. Чтобы кто-то заплатил за смерть друзей. Кэс сжала рукоять кинжала. Прицелилась. *«Умри».*

Кинжал сорвался с пальцев. Полетел точно в горло. Кэс улыбнулась. Наконец-то. Наконец-то её желание работает. Наконец-то

В этот момент из-за груды тел рывком поднялся странник. Весь в крови, но двигался легко. Он не увидел летящий кинжал ровно, пока тот не вошёл в его грудь. Глубоко. По самую рукоять. Цели достиг, но не той. Может, рок пнул его под зад, поэтому странник оказался на пути.

Он даже не поморщился. Взглянул на кинжал, торчащий из него, затем поднял глаза на Кэс. Губы тронула слабая улыбка, в которой, как показалось девушке, таилась издёвка. В уголках стекла два тонких ручейка.

— Точно в яблочко. Румяное, красное и бесполезное, как и вся — он закашлялся, выпуская кровавое море. Глаза невольно закатились. Сам он обмяк и свалился на землю.

Кэс ещё какое-то время тупо смотрела на него, не до конца понимая, что чувствует из-за увиденного. Ей удалось прийти только к одному единственному мнению — она не станет забирать кинжал. Без него ей явно не будет хуже, но если она заберёт его после такой «жертвы» Такой, первой на её памяти, кто знает, как рок извернется над ней на сей раз.

Когда все соображения по поводу путника у неё иссякли, Кэс дёрнулась, судорожно оглядываясь по сторонам. Вспомнила о девушке. Её уже и след простыл. Девица воспользовалась шансом. Растворилась в лесу, не оставив ни звука, ни направления.

Кэс очень хотела провалиться сквозь землю. Земля осталась твёрдой. Посмотрела на тела друзей. На разбитую карету. На кровь, впитывающуюся в почву.

Очень хотела заплакать. Слёз не было. Глаза оставались сухими, как пустыня. Рок отбирал даже горе.

— Чёрт, — выругалась она снова. — Чёрт, чёрт, чёрт.

Подошла к своей кобыле. Лошадь стояла целая и невредимая. Даже не вспотела.

— Ну конечно, — пробормотала Кэс, забираясь в седло. — Тебя-то зачем беречь?

Мертвецы помнят, кто был жив вместе с ними. Кэс вернулась к тому, с чего начала. Мертвы те, с кем она хотела быть рядом. С ней только гнетущие воспоминания о том времени, когда они были живы. Бесцельная жизнь, под ней кобыла, которую она не хотела, и путь в никуда по дороге без возврата.

Заячья удача и львиный страх

Дождь лил уже неделю. Это была не зима Гранитхолда. Там снег ложился ровным саваном, хрустел под сапогами и скрывал изъяны мира под одеялом мёртвой тишины. Здесь же зима оборачивалась вязкой, липкой жижей. Небо не укрывало землю — оно смывало её. Копыта коня всасывались в грязь с хлюпающим звуком, похожим на последний вздох утопленника. Каждый шаг напоминал: земля не держит живых. Она лишь ждёт, когда можно будет поглотить.

Плащ насквозь промок, вода стекала по спине холодными ручьями, забивалась под ворот, холодила шею, но Мартин не чувствовал стужи. Чувствовал только усталость. Кости тяжелели, веки тёрли глаза до рези. Моргнуть — словно поднять жёрнов. Он ехал сгорбившись. Дороги не было. Только инстинкт коня, который тоже устал, тоже чуял: они заходят слишком далеко. Туда, где карты обрываются, и начинаются легенды. А легенды обычно пахнут кровью.

Он сбежал с Севера, где зима уже брала своё. Замораживала реки, запирала людей в домах, создавая иллюзию безопасности за каменными стенами. Мартину казалось: если уехать достаточно далеко, удастся убежать от видений. От образа Софии с кинжалом, от искажённого ненавистью лица отца, от королевства, которое он предал ради призрачного шанса на жизнь. Но здесь, на западе, зима была иной. Она проникала под кожу, заполняя лёгкие сыростью. Дышать стало трудом. Мартин понял: от судьбы не бегут вёрстами. Видения идут с тобой, как свинец в сапогах. Как привкус меди на языке, который не смыть водой.

На исходе десятого дня небо опустилось так низко, что казалось, тучи можно задеть кончиками пальцев. И тогда он увидел огонь. Не маяк, предупреждающий об опасности, не пожар, пожирающий прошлое. Одиноким мутным светом в окне. Жёлтый, дрожащий на ветру, словно глаз подстреленного зверя. Вывеска скрипела, издавая звук, похожий на стон умирающего. Мартин прищурился, разбирая буквы, почти стёртые дождём: «Последний Привал».

Название было слишком красноречивым, чтобы быть случайностью. Особенно если учесть, что за ним на карте простиралось огромное белое пятно. Весь запад. Картографы не наносили туда ни линий, ни знаков. Те, кто пытался, не возвращались, либо возвращались изменёнными. Белое пятно — не пустота. Угроза. Молчаливое предупреждение: дальше нет законов, королей, богов. Только Топи, туман и то, что лучше не звать по имени. Мартину было всё равно. Конь падал с ног. Ему нужно было вино и угол, где можно закрыть глаза и не видеть будущего. Хоть на одну ночь.

Он спешил к крыльцу. Ноги ватные, будто он пешком прошёл полкоролевства. Конь фыркнул, замотал головой, стряхивая воду с гривы. Мартин похлопал его по шее, почувствовал дрожь мышц. Прошептал «прости», не зная, за что именно. За путь или за то, что не мог обещать возврата. Толкнул дверь. Дуб сопротивлялся, потом скрипнул и пропустил. Шаг из дождя в жар. Пахло жареным салом, мокрыми псами, дымом жжёных трав, старым деревом и пролитым элем. Лучше, чем дождь. Лучше, чем страх, преследовавший все эти дни.

Народу мало. Кто в здравом уме поедет на запад в такую погоду? Мартин усмехнулся. Он явно был не в здравом. Окинул зал: двое торговцев дремали над кружками, тяжело и хрипло дыша. У камина грел руки путник. Мартин прошёл к стойке, оставляя мокрые следы на старых половицах. Трактирщик с лицом, изборождённым глубокими морщинами, взглянул на него без интереса. Видал много беглецов. Большинство не возвращается.

— Комнату, — голос хриплый. Не говорил днями. — Вина и овса для коня.

Трактирщик кивнул, не задавая вопросов. Пока ждал вина, Мартин уловил обрывки разговора за соседним столом. Двое местных. Возможно, охотники или проводники. Говорили тихо, наклонившись друг к другу, словно боялись, что стены услышат их.

— ...за трактом начинается Тропа Отчаявшихся, — голос дрогнул, словно он произнёс запретное слово. — Ни один картограф не вернулся оттуда. Говорят, там земля ест людей.

— Это из-за ведьмы, — ответил второй. Мартин напрягся, хотя старался не слушать. Ведьмы были сказками для детей, не для принцев, бегущих от собственных видений. — Она живёт в башне, в самом сердце Топей. Говорят, снимает порчи и может даже разорвать проклятье, но заберёт взамен память.

— Или наложит новое и заберёт душу, — усмехнулся первый. — Лучше не ходить туда. Даже звери обходят стороной это белое пятно.

Мартин гнал мысли прочь. Он не искал ведьму, он искал забвения. Места, где можно спрятаться от будущего, а не изменить его. Взял кубок. Вино оказалось тёплым и кислым, обожгло горло. Боль была реальной — в отличие от видений. Выпил залпом, заполняя желудок теплом.

— Сколько за комнату?

Цена оказалась завышена. Он не стал торговаться. Золото не важно, когда нет будущего.

Лестница жалобно скрипела под каждым шагом. Комната маленькая, тёмная. Узкая кровать и окно, в котором видно только дождь. Наблюдать за ним осточертело. Закрыл ставни и лёг на кровать, не раздеваясь.

Закрыв глаза, Мартин погрузился в темноту без видений. Наконец расслабился. Может, действительно убежал? На краю карты судьба теряет свою силу? Когда сон пришёл, беспокойство вернулось. Через щель под дверью в комнату словно просочилось то самое белое пятно. Вместе с ним — холод. Оно росло, шептало имя. То, что он не хотел слышать. Имя женщины, что убьёт его. И имя другой, что обещала спасение.

Проснулся в холодном поту. На дворе была ночь. Дождь стучал в стекло, как нервные пальцы по столу. «Последний Привал» не обещал отдыха. Это было предупреждение. Дальше — только путь. Назад — к неизбежной смерти в спальне. Вперёд — в белое пятно. К той, что обещает спасение.

Знал, что выберет. Всегда выбирал путь, который видел заранее. Видел, что дорога ведёт туда, где нет карт и нет законов. Только туман и надежда. Надежда опаснее любого проклятия.

Подшёл к окну, открыл его. Воздух был спёртым. Дождь ударил в лицо — теперь он не пытался спрятаться. Хотел чувствовать холод, что-то реальное. Глянул на запад, туда, где простиралась темнота. Дождь ещё никому не помог видеть яснее. Но он знал: там начинается Тропа Отчаявшихся.

Представляя, как идёт по ней, Мартин чувствовал себя живым. Обратная дорога казалась опаснее. Хоть и предсказуема. Начертана им же самим. Ждала неминуемая смерть. Тропа не внушала доверия, но и не гарантировала гибели. Возможности не исключались, а видения молчали. Этого было достаточно, чтобы обрести решимость.

Может, это и есть лучший способ защитить семью — умереть там, где никто не найдёт тела. Не обременять могильщиков. Не оставлять за собой памяти, вины, позора для рода. Пусть думают, что сбежал. Пусть проклинают. Но не будут рыть могилу для принца, который предал корону, чтобы спасти её от себя.

Закрыв глаза и наконец уснул. В этот раз — ничего. Только тишина. Белая и чистая. Оказавшаяся страшнее любого крика.

Принц проснулся с ощущением, чуждым его костям. Несколько минут лежал неподвижно, боясь шевельнуть мизинцем, чтобы не спугнуть тишину в голове. Впервые за годы у него не было видений. Ни крови на камне, ни кинжала в руке Софии, ни фонового гула неизбежности, что обычно сопровождал сон, напоминая: будущее уже написано и ждёт своего часа. Чистый лист пергамента. Он знал: это временная передышка. Затишье перед бурей, что налетит, едва он переступит порог. Или покинет кровать. Но пока тишина была подарком.

За окном лил тот же дождь. Вязкий, серый, не умеющий становиться снегом. Но сегодня он был просто дождём. Не предзнаменованием. Просто звук. Капли по стеклу. Мартин сел. Мышцы затекли, но тело казалось лёгким. словно с него сняли тяжёлый панцирь, который он носил так долго, что считал его частью кожи.

Утренний свет пробивался сквозь мутные стёкла, смешиваясь с дымом очага. В полумраке посетители казались тенями, оторвавшимися от стен. Народу было ещё меньше, чем вчера. Видимо, мало кто решался задерживаться в месте, которое на картах обозначали как край мира. За столом у камина сидел человек, вокруг которого всё складывалось на редкость удачно. Мартин наблюдал, попивая эль.

Путешественник задел локтем кружку. Та должна была упасть. Вместо этого скользнула по дереву и замерла на самом краю. Не пролилось ни капли. Он чиркнул кресалом по сырому полену — огонь вспыхнул с первого раза. Трактирщик, угрюмый с Мартином, как старый пёс, вдруг улыбнулся этому человеку и подложил кусок хлеба.

— Счастливого утра, — пробормотал он.

подавальщица шла с подносом эля. Споткнулась о подол. Мартин уже видел траекторию падения, брызги, раздражение. Но путешественник едва сдвинул колено — поднос коснулся сапога и замер. Ни капли не пролилось, ни одна кружка не разбилась, ни одни штаны не промокли. Подавальщица выпрямилась, моргнула, будто сама не понимала, почему не лежит на полу. Лицо её осунулось, она поспешила удалиться, косясь на него с суеверным страхом. Будто он не человек, а оберег, который нельзя трогать голыми руками.

Странный контраст в этом унылом месте. Вокруг него словно существовала своя тихая гавань, где всё происходило так, как должно в лучших снах, а не в яви.

— Плохая погода для побега, — голос прозвучал спокойно.

Мартин обернулся. Путешественник заговорил с ним, будто читал мысли, не желая их озвучивать вслух. У него было открытое, простое лицо. В глазах не было той настороженности, что привыкли дарить ему другие. Люди чувствовали его тревогу, как сквозняк. Этот — нет. Глядел с тёплым любопытством.

— Вы со мной? — зачем-то уточнил Мартин.

— С тобой. Я говорю, плохая погода для побега, — терпеливо повторил он, будто прочитал на лице невидимые строки.

Рука Мартина инстинктивно потянулась под стол к мечу. Слова были слишком точными. Маловероятное совпадение. Незнакомец лишь улыбнулся, поднимая кружку с элем. В улыбке не было хитрости — наоборот, она казалась открытой и искренней. Пальцы ослабели, но рукоять он не отпустил.

— Кто сказал, что я бегу?

— Никто. Но люди, что едут в такую погоду без цели, либо ищут смерть, либо бегут от неё. У тебя в глазах слишком много усталости для искателя смерти. Значит, ты беглец.

Мартин расслабил плечи. Странности собеседника на этом не заканчивались: он не спровоцировал ни одного видения. В отличие от всех остальных. Здесь, на краю карты, проклятие словно ослабило хватку.

— А ты кто такой? Судья? — осведомился Мартин, смачивая горло элем.

— Адам, — представился путешественник. — Просто человек, у которого дела наконец пошли в гору.

— В такую погоду и в таком месте дела в гору? — фыркнул Мартин, присаживаясь к столу.

— Удача, — он похлопал по карману. — Нашёл кое-что. Талисман.

Достал из кармана небольшой предмет и положил на стол. Заячья лапка. мех слипшийся, коготки пожелтевшие. Но главное — запах. От неё исходил слабый, сладковатый дух гниения, перебивший аромат жареного мяса и трав.

—носишь дохлую лапу? — Мартин поморщился. — Это сказки для детей. Чтобы пугать нянькиных воспитанников.

— Раньше я тоже так думал, — он сделал глоток. — Бывает так: хочешь помочь человеку, а у него ломается телега. Или платишь за ужин, а девушку, что угощал, бьёт бывший любовник. Всё, к чему ни прикасаешься с добрым намерением, превращается в пепел.

Мартин слушал вполуха, больше заинтересованный элем. Путник звучал как нытик и неудачник. На севере такие не выживали.

— Типичные жалобы неудачника. Мир жесток. За добро платят злом. Я слышал эту песню тысячу раз.

— Нет. Это не мудрствование, это закон. Как поднять камень — и он упадёт на ногу. Помогаю старухе — у неё горит дом. Думал, я проклят. Что ношу в себе хворь, которая портит всё хорошее. — Он поворошил лапку пальцем. — Две недели назад я нашёл это. В таверне. Кто-то обронил. С тех пор... тишина. Помогаю — мне благодарят. Плачу — сдачу дают. Иду по дороге — дождь обходит стороной. Это работает.

— Пока воняет, — заметил Мартин. Запах густел.

— Чернеет каждый день. Забирает мою неудачу в себя. Гниёт вместо меня. Боюсь, когда превратится в пыль... всё вернётся. И даже хуже.

Мартин посмотрел на лапку. Потом на свои руки. Чистые. В голове всплыло видение: София, кинжал, кровь на белом шёлке. Слова путника перестали казаться бредом пьяного шута. Они стали тяжёлыми. Мартин узнал в них отголосок собственного проклятия, вывернутого наизнанку.

— Если найдётся такая же лапка, — медленно произнёс он, — что поможет справиться с трусостью... я готов начать драку хоть сейчас.

Путник удивлённо поднял брови. В глазах не было осуждения.

— Трусу не нужна лапка. Ему нужно убежище. Ты ведь не из тех, кто боится боли. Ты боишься чего-то другого.

Мартин горько усмехнулся. Правда была хуже лжи.

— То-то я поступил в точности как лев при виде львицы — спасался бегством, поджав хвост. Я опозорил семью. Удивляюсь, как отец не вспорол меня, как поросёнка, чтобы избавить род от пятна.

— Лев не убегает от львицы. Он отступает, когда чувствует, что её когти уже в его шкуре.

Мартин замер. Кружка застыла на полпути. Именно то, что он чувствовал. Не страх перед женщиной, а страх перед неизбежным. Перед судьбой, что использует её как клинок, а его — как ножны.

— Откуда ты...

— Просто догадка, — он пожал плечами. — Ты смотришь на женщин не как на добычу. Ты смотришь на них как на могилы. Так, о чём боязнь?

Мартин отставил кружку. Эль вдруг стал кислым. Он пригляделся к жидкости, пытаясь разглядеть, не подлил ли кто уксуса. Взглянуть в глаза путника он не захотел.

— Красива, — голос дрогнул. — Когда просто любовался ею, глаз радовался, и волнение подступало к горлу. А едва нам удалось оказаться ближе и поговорить, во взгляде отчётливо увидел свою смерть. И к горлу подступала уже горечь.

Тишина. Даже храп торговцев стих. Дождь за окном стал громче.

— Видения? — тихо спросил путник.

— Знания, — поправил Мартин с раздражением. Видения допускают ошибку. Знания — нет. — Я знаю, что случится, но не могу изменить. Вижу смерть — она приходит. Вижу пожар — дом сгорает. Разорвал помолвку. Убежал. Но я знаю: война будет. И я умру. Просто позже.

Путник нервно поворошил лапку. Она выглядела ещё чернее, чем минуту назад. Будто реагировала на тяжесть признания.

— Слышал историю. Может, брехня и пьяный бред. Но говорят, там, где карты заканчиваются... Мёртвые Топи.

— Там болотные духи и лихорадка, — отмахнулся Мартин. Это белое пятно на карте его манило и пугало одновременно.

— Говорят, там есть башня, — продолжил путник. — В башне живёт ведьма. Не та, что варит зелья для любовниц. Та, что занимается... судьбами.

— Снимает проклятия? — Мартин усмехнулся. Чудеса для детей, а не для проклятых принцев. — За сколько?

— Не знаю. Но я туда иду, — он убрал лапку. Запах наконец ослаб. — Моя удача куплена ценой гниения. А твоя смерть... может, её тоже можно откупить?

Мартин молчал. В пламени мерещились лица. Отец. София. Генералы. Требовали смерти ради политики, чести, союза. А этот парень с дохлой лапой предлагал шанс. Шанс для безумца, что казался лучшим вариантом, чем принятие гибели.

— Да нет же, я к тому... — путник запнулся, потер висок, словно мысль ускользала, как вода сквозь пальцы. — Забыл, к чему. Хмель голову дурманит. — Он моргнул, будто только что проснулся. — В общем... если тебе некуда идти. Дорога на запад опасна. Вдвоём веселее. Даже если один проклят видеть смерть, а другой — приносить неудачу.

Мартин посмотрел на него. Не увидел видений. Смотрел на человека, который верил в ведьму из сказок. Безумие. Но он вспомнил взгляд Софии. Пустой, холодный, знающий. Вспомнил слова отца: «Ты предаёшь свой дом». Предательство уже случилось. Какая теперь разница до его судьбы? Лучше умереть от рук ведьмы, если не увидит этого в своих видениях. Это будет личным подарком рока.

— На запад, — повторил Мартин. Слова прозвучали как приговор, который он вынес сам себе. — В Топи.

— Ага, — путник ободрился. — Там говорят, воздух такой густой, что демоны вязнут.

— Ты действительно веришь в эту ведьму? — уточнил Мартин, будто ответ помог бы ему самому в неё поверить.

— Верю в лапку, — он показал карман. — Она работает. Пока работает, значит, чудеса бывают. Даже гнилые.

Мартин выдохнул. Как человек, решивший сделать шаг с обрыва, надеясь, что внизу окажется вода, а не камни. Допил эль. Поднялся, ощутив, как ноги налились тяжестью. Груз королевства, который теперь ему предстояло тащить через болота.

— В путь? — путник поднялся следом. В голосе — готовность. Словно внутреннее чутьё, указывающее на запад независимо от воли идущего. — Если не передумал, пока поднимался, — шутливо ткнул он. В глазах плясали весёлые огоньки, неуместные в этом унылом месте. Казались отдельным видом магии.

Уголки губ Мартина дрогнули. Подобие улыбки, непривычной для его лица, казалось чужим. Он примерил маску человека, умеющего смеяться, и она ему подошла.

— Я бы не рисковал. Вдруг твоя удача решит, что ведьма скучна, и по пути встретим дракона, который тоже хочет снять проклятие.

Путник рассмеялся. Живой звук, заглушивший дождь. На миг создал вокруг них пузырь безопасности. Знали: лопнет, как только переступят порог.

— Драконы не носят проклятий, — сказал он, накидывая капюшон. — Они сами по себе проклятие. Ставки одинаковы.

Вышли наружу. Дождь сразу вцепился, проверяя серьёзность их намерений. Барабанил по плащам холодными пальцами, забивался за ворот. Напоминал, что мир не стал добрее. Но теперь их было двое. Пошли к конюшне. Конь Мартина, обычно нервный, стоял спокойно. Позволил путнику погладить шею. Маленькое чудо. Мартин решил не замечать. Боялся: если обратит внимание, чудо исчезнет, как сон без видений.

Мартин перевёл взгляд на лошадь путника. Исхудавшая пепельно-серая кобыла. В крупных тёмных глазах отражалась вся усталость, что она скопила за всю жизнь.

— Красивая, — удивился Мартин.

— Не моя. Удача подкинула, — ответил путник с такой простотой, словно речь шла о найденной на дороге монете.

— Да ну...

— Не веришь? — путник легко вскинулся в седло. Движение плавное, не для новичка. — Эта лошадь едва ли не подо мной выросла и погнала, не спрашивая моего мнения. Будто знала, куда нужно идти лучше, чем я сам.

— Кажется, ты и впрямь в нянькины сказки веришь, — усмехнулся Мартин. Усталое принятие абсурда.

Выехали на тракт. Тропа Отчаявшихся. Впереди только серая мгла. Топи, башня и судьба. Теперь их двое. Мартин смотрел на спину путника. Думал: возможно, он прав. Чудеса бывают. Даже гнилые. Лучше умереть в болоте, пытаясь найти спасение, чем в спальне, ожидая удара кинжала.

Пришпорил коня, догнал попутчика. Исчезли в дожде, оставив позади «Последний Привал». Последний свет обитаемых земель, последний шанс вернуться назад. Дорога за спиной размывалась, превращалась в жижу. Земля стирала следы, будто хотела забыть, что они шли туда, где не было ничего, кроме тумана и надежды. Надежды, опаснее любого проклятия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.